

СЛОВА ДАЮТСЯ НЕЛЕГКО

Бывают такие минуты, которые неожиданно прорастают из времени неизвестно как и куда; ты не можешь угадать, что они означают, и просто испытываешь какой-то небывалый подъем, почти подростковый восторг от того, что получаешь знание обо всем сразу, и только потом, через много лет, вдруг понимаешь, что эти мгновения были направлены в будущее, уже были туда помещены, и только там тебе их предстояло по-настоящему осознать.

Подобные мысли разом вспыхнули в голове Антона Лепетова, как только он ступил на вымощенную плиткой территорию Кольцовского сквера. Безжалостная многодневная городская жара исходила уже каким-то невыносимым чадом. Солнце над головой, заряженное на убийственную работу, и не думало отступить.

Сквер был оккупирован десантниками. Флаг, гитара, голубые береты, тельняшки, столпотворение у фонтана — все походило на какой-то карнавал, причина которого была неизвестна. И тут до Лепетова наконец дошло: день ВДВ, а еще Ильин день, водные процедуры.

На другой стороне фонтана, в дурацких брызгах и радужном преломлении игривой водной стихии, он вдруг увидел знакомое лицо, как будто случайное в этой суете и совершенно равнодушное к происходящему. Лицо это словно выглянуло из старого вещего сна, чтобы обнаружить некий смысл, и снова ушло за крепкие и веселые спины десантников.

Красная щека, открытый рот, потянувшийся к струйке воды толстыми губами, — утолить жажду, напиться. Долгожданное избавление от жары. Лепетов замер: все всплывало как предугаданное, давно в нем сидевшее. словно он проснулся и соединил время, повторяя ощущение, — и тогда, много лет назад, когда видел этот сон, и теперь, когда этот сон вспомнил. Впечатление было настолько головокружительным, что походило на приговор: «Ты не можешь ничего отменить». Вот так оно и сбывается, прорастает сквозь годы: линейка у школы, памятник писателю, генералу, фото на память, и вдруг что-то зыбкое проносится в мозгу, укол из будущего — журчащие струи фонтана, чья-то голова затылком, принятая за откровение.

Антон Лепетов узнал Аркадия Зулусова. Они учились в школе с первого класса, вместе когда-то сидели за одной партой — год или два. Что-то их связывало: наверное, общие детские игры, интересы — собирали марки, значки, вместе отдыхали в пионерском лагере. Антон был простоватый, Аркадий — с хитрецей. Случалось второму обманывать первого, но это так — по-детски все выходило, несерьезно, хотя Антон иной раз обижался. На уроках Аркадий старательно списывал у Антона, и однажды его старательность даже была переоценена: копия по какой-то причине получила «пятерку», а оригиналу достались скромные «четыре».

К концу школы у ребят уже сформировались взгляды на жизнь. Вернее, сформировались они у одного Аркадия, и определялись эти взгляды глаголом хотения и желания «иметь». Иметь хотелось много чего, список был вполне годный для естественных потребностей человека, основательный такой список, бескомпромиссный, с наличием в виде базовых ценностей жены-красавицы, дома, автомобиля, высокооплачиваемой работы и достойного отдыха. Другое дело, что некоторые потребности у Аркадия Зулусова в дальнейшем стали не вполне естественными, но это в дальнейшем...

С Антоном Лепетовым все обстояло и проще, и сложнее. Цели и желания у него отсутствовали, по жизни он был наблюдателем, что называется, «плыл по течению», довольствуясь тем, что есть, и это как раз добавляло в его жизни сложности. Два года он промышкался после окончания школы в техническом вузе, непонятно зачем туда поступив. Потом вдруг увлекся театром (в виде утешения «кавээны», «Студенческая весна») и, открыв в себе творческое начало, а иначе способность к проживанию на сцене чужой, главное, не своей, жизни, стал актером. И был зачислен в труппу местного театра, и произносил обличительные монологи, и выдавал разоблачительные исповеди. Его главный герой всегда был жалок, неприспособлен к жизни, и вызывал одновременно и сочувствие, и презрение. Так, едва услышав гамлетовское «быть или не быть», зритель сразу понимал, что перед ним мстительный и одержимый неврастеник, а в вопросе Чацкого «А судьи кто?» можно было сразу же уловить нотки раздражительности, исходящие от завистливого и неуживчивого человека, расходящегося с добропорядочным обществом разом по всем пунктам.

В конце концов, с театром у Антона Сергеевича Лепетова не сложи-

лось — уж больно много было в его исполнении негатива. К тому же провинциальный театр загнивал, и еще бы ему было не загнивать, когда менялось и рушилось буквально все вокруг; менялось название страны, и даже привычки населения менялись, да таким коренным образом, что не все это выдерживали. Для Лепетова наступили новые дни: он вдруг осознал себя свободным от чужих личностей, прежде оживавших у него в голове, и сперва даже немного растерялся. Кому теперь подражать? С кого лепить ему новый образ? Чему соответствовать? Тут еще жена не забывала понукать (а он женился как раз до кардинальных общественных перемен), настраивая его на предпринимательскую деятельность, сулящую доходы, — вот же все как-то вертятся и крутятся, придумывают что-то, хотят лучше жить... От этих разговоров у Лепетова портилось настроение: тяги к каким-то жизненным свершениям, связанным с неперменным достатком, у него не было, вообще эта жилка отсутствовала; самой смелой его фантазией на предмет существования в новых условиях (и, пожалуй, единственной) было представить себя в качестве ночного сторожа в каком-то помещении, похожем на склад или банальное учреждение, — отринутый от скверной социальности и такой же скверной экономической целесообразности, он сидит за столом с лампой, пьет чай, закусывая сушками, и в тихом, скромном восторге, совместимом со званием посвященного в тайны мироздания, читает книгу, пережидая нелепую суету. На большее его просто не хватало. В ту пору у него даже появилась мечта совершенно правда, не материального свойства: как-нибудь тихонько так прожить, лишь бы никто его не трогал. Возможно, кому-то, да что там кому-то, любому его мечты показались бы убогими, но он был убежден, что ничего желать не может, потому как действительность всегда обгадит любую самую высокую мечту.

Разумеется, вслух обо всем этом говорить было нельзя, чтобы не прослыть «бытовым идиотом». Да и кто бы его понял? Жена, конечно, в самой меньшей степени. Однако совсем уж разочаровывать ее ему не хотелось. Помог случай: знакомые ребята попросили однажды написать небольшую статью в газете о фильме, шедшем в прокате, ну что-то вроде рецензии и отклика одновременно, по старой как бы театральной памяти, имея в виду, что есть такое слово «кинотеатр». Он взялся, и дело пошло: открылся вроде бы талант; одна газета, другая, сложился круг. Уже можно было как-то жить и даже на время (вечного ничего нет) приободриться. И все же, по сути, в заданных рамках пробуя себя как бы на «язык времени», искушая себя мнимой свободой, Антон Сергеевич Лепетов оставался никем, и как «никто» он окончательно сформировался в «бесцельные нулевые». Эпоху застоя как-то незаметно сменила эпоха отстоя. К сорока годам, а ему было уже почти тридцать девять, он расслабился настолько, что стал противен самому себе.

А вот Аркадий Зулусов развивался вместе со своими потребностями. Удачно женился и, благодаря тестю, перебрался в Москву; чем он там поначалу занимался, было неизвестно, но вдруг всплыл на телевидении, выставив себя на всеобщее обозрение как состоявшаяся личность. И оказывалось, что Аркадий Павлович Зулусов руководит модным столичным театром, он режиссер и ставит спектакли, о которых говорит вся Москва. Последнюю его работу, «Идиот» по Достоевскому, возили на фестивали в Эдинбург и Авиньон. Внешне это выглядело как бюджетная постановка театра-студии, ютящейся в подвале. Во всем царил минимализм локомотивного депо. Собственно, сцена представляла собой паровоз в продоль-

ном разрезе, совмещенный со штабным вагоном. Парфен Рогожин был чумазым кочегаром, генерал Епанчин с семейством в вагоне ехал в этом самом вагоне, и куда ехал князь Мышкин, было непонятно: он постоянно мерз и теребил свой узелок с вещами. Постановка была весьма оригинальной. Генерал, например, сам подавал стул всякому вошедшему. Ганя Иволгин оказывался аккуратным и исполнительным молодым человеком приятной наружности в партикулярном платье, а князь — развязным и нагловатым субъектом из репатриантов, козыряющим своим наследством. Надо ли говорить, что пачку в 100 тысяч евро ассигнациями бросали не в камин, а в паровозную топку. И именно в этой же топке сгорали, по-братски обнявшись, Мышкин с Рогожиным, а Настасья Филипповна, оставшись на бобах в штабном вагоне, слушала душераздирающий паровозный гудок и беззвучно выла, вцепившись себе в волосы.

Ведущая популярной вечерней телепередачи, в которую приглашались исключительно знаменитости, задавала Аркадию Павловичу Зулусову вопрос: «Скажите, а чем вызвана смена валюты у пачки денег? Помните, на премьере это было 100 тысяч долларов?» На что Аркадий Павлович отвечал: «Театр — это живой организм, а не какая-то раз и навсегда возведенная и замшелая конструкция. Мы должны откликаться на жизненные реалии. Меняется экономическая ситуация — меняемся и мы, меняется спектакль».

«Этого не может быть, — в который уже раз повторил про себя Антон Лепетов. — Нет-нет, этого быть не может...» Он видел перед собой школьный выпускной вечер, набережную у Чернавского моста, какой-то самодеятельный ансамбль с гитарами, усилителем и ударной установкой, исполнявший уже в рассветном холодке песню на английском: «Лейди лейди лей...», и его спустя годы пробирал другой холодок, когда он слышал облокотившегося на парапет насмешливого Аркадия: «Дона Камизи давай!» И вспоминал слова Татьяны Михайловны, учительницы по русскому языку и литературе, сказавшей однажды про восьмиклассника Зулусова: «В проблесках ума замечен не был». Прозвучало, может быть, с излишней категоричностью, но все же являлось некой знаменательной характеристикой.

У Лепетова вдруг возникло скользкое чувство обмана и потери, словно у него опять списали, да так удачно, что списавшему сразу выдали золотую медаль, а ему теперь уже ставили не «четыре», а сразу «три», разом отмечая его примитивность, обыденность и неизбежную заурядность, при том что себе он поставил бы и «двойку». Да-да, вот так, яростно: «два», «два», «два» и еще раз «два»!

Его изумлению не было предела. Вот Аркадий Зулусов появляется в телевизионных новостях, этой транслируемой истории бесконечного унижения, и делится своим мнением о первом президенте страны с ограниченными возможностями. Антон Лепетов выстукивает на ноутбук статью «Михаэль Ханеке как зеркало «либерального фашизма», которую мало кто заметил, а Аркадий Зулусов выдает памфлет «Нас гамбургерами не закидаешь!», который становится предметом широкого обсуждения. При написании очередной статьи у Антона Лепетова выходит из строя ноутбук, он сдает его в ремонт; крыть ему больше нечем в этом заочном и неравном соревновании, о котором Аркадий Зулусов и не подозревает, он вообще не догадывается о существовании какого-то там Антона Лепетова, он его просто не помнит, вот еще ему есть нужда о нем помнить, ему некогда, он появляется в субботнем политическом ток-шоу, где рассуж-

дает о сублимированной демократии и диктатуре витрин; Россия, говорит он, страна победившей инфляции во всем: в экономике, в искусстве, в человеческих отношениях, нынешнее государство только благодаря инфляции и существует... Собравшаяся в зале публика аплодирует. В другой раз, в прямом эфире, он схватился с завзятым политтехнологом и матерым телеакадемиком, читающим с экрана проповеди о либеральных ценностях. Зулусов назвал его непревзойденным мастером игры в наперсток, рассказывающим доверчивым аборигенам, как правильно пользоваться стеклянными бусами, чтобы обрести счастье. В результате убежденный «демок» со стажем был госпитализирован прямо из телецентра с острым приступом американского патриотизма. Зулусов, что называется, «разделал его под орех».

Политические взгляды его были весьма ловкими. Он удачно вписался в мир, поделенный на «совков» и «демков», и даже сам стал телеведущим, получил свою программу, которая называлась «Зулусов и современные джунгли». А Антон Лепетов продолжал страдать: «Нет-нет, ну как такое возможно?» Он косился на письменный стол, ожидающий ноутбук из затянувшегося ремонта, и с отчетливой ясностью понимал, что надо ему как-то выбираться с этой свалки компьютерных и идеологических отходов. «Все пройдет, — уговаривал он себя, — и глупость тоже». И ведь правда, прошло! Через какое-то время программу Аркадия Зулусова закрыли, и он исчез с телеэкранов. Что было тому причиной? Куда он подевался? Все эти вопросы оставлялись без ответа. Впрочем, ходили разные слухи, источником которых служила «желтая пресса», но можно ли было ей доверять? По одним данным, больше похожим на происки злых языков, чем на правду, он хотел создать сеть борделей быстрого обслуживания и шаговой доступности, но затея эта ожидаемо провалилась. Поговаривали также, что он примкнул к трансвеститам седьмого дня, да так и растворился в их братстве без остатка. Последним и самым правдоподобным известием была новость о том, что его приглашали в Германию для постановки оперы «Золото партии».

Головокружительная карьера Зулусова была Антону Лепетову непонятна. Как вообще делаются такие карьеры? Как из ничего вдруг возникает все и точно так же неожиданно исчезает? Где скрываются эти движущие силы, откуда берется та волна, которая сначала поднимает, а потом уносит?

И однажды Лепетову приснился сон, в котором он стоял у знакомого парапета на набережной, слушая вокально-инструментальный ансамбль. В происходящем была некая странность: Лепетов чувствовал, что выпускной его не радует; в этом смещении пряталась какая-то утрата. Упадок в нем сочетался с подъемом — словно на коньках стоишь, ноги разъезжаются в разные стороны. Тут появлялся представительный человек в смокинге, с сигарой между пальцев, и Антон понимал, что это и есть Дон Камизи собственной персоной. Он подходил к Антону и говорил, ободряюще похлопывая по плечу: «Words don't come easy». А потом уходил, напевая «Lady Lady Lady Lay».

Где-то через месяц или два после этого нелепого сна Лепетов и увидел в сквере Зулусова. Это было похоже на продолжение сна — настолько зыбким представилось мгновение узнавания: повернутое против солнца красное лицо, обхватывающее движение толстых губ приоткрытого рта... Словно Антон Лепетов наудачу выловил большую рыбку, которая скользнула на воздухе мокрым крупным телом, раздувая жабры, и сига-

нула обратно в темную воду забвения — только круги разошлись, будоража память, заставляя Лепетова поверить в то, что времени нет, что он навечно связан с каждой минутой своего прошлого, каким бы оно ни было и как далеко ни отстояло бы от сегодняшнего дня.

Впрочем, все успокоилось и забылось на какой-то срок, чтобы объявиться снова. Случай самый простой: Лепетов вышел из дома за водой; из-под крана он не пил, с фильтрами заморачиваться не хотел, да и не верил им, а потому покупал пятилитровую артезианскую. На два дня ему с женой вполне хватало.

Несмотря на жаркую погоду конца августа, приближение осени уже чувствовалось во всем. По канавке вдоль позвоночника у Лепетова еще стекали капельки пота, но воздух вокруг уже был тронут легкой прохладцей — это был такой едва уловимый и вместе с тем едкий, пронзивший основу лета, холодок.

Поперек тротуара, нависая над ним внушительным и уродливым прямоугольником-монстром, жил своей жизнью рекламный щит коммерческого банка с отозванной лицензией и улыбающимся Тамильским. Известный телевизионный атлет на щите представлял собой гору перекачанных мышц, он излучал здоровье, уверенность, силу и обещал немислимые проценты вкладчикам, а также бонусы, скидки и подарки. Особо сомневающимся Тамильский показывал свой, похожий на грузовик, кулак и заявлял: «Мое слово железно!» Проходя мимо, Лепетов в который уже раз подумал: «Вот ведь интересно: Тамильский уже полгода как умер, а дело его продолжает жить».

Уже с водой в руке он вышел из магазина на улицу и затоптался что-то у киосков рядом с остановкой. Рассеянно скользнув взглядом по журнальной витрине, он отвел глаза в сторону и сразу попал на знакомое лицо, всего лишь пару секунд бывшее незнакомым. С той стороны произошло такое же секундное замешательство и узнавание. «Ну вот», — вдруг подумал Лепетов, сразу же ощутив непомерную тяжесть пяти литров воды в руке; его словно затягивало в воронку времени: школьная линейка, памятник писателю, потом генералу, фонтан и много чего еще... «Значит, не ошибся», — успокоил он себя.

— Привет, — излишне буднично произнес Зулусов, отрывая сигаретную облатку.

Лепетов отклонился назад и спросил:

— Как ты тут оказался? Ты же вроде...

Продолжить ему не пришлось, Зулусов сказал с некоторым неудовольствием:

— Вот вернулся.

— Это... насовсем?

— Все может быть.

— А чем будешь заниматься?

— Посмотрим, — вздохнул Зулусов. — Ты-то сам как?

— Знаешь, неплохо, — неожиданно выдал Лепетов. — С театром расстался...

— Вот как! — усмехнулся Зулусов.

— Да... — протянул Лепетов. — А теперь пишу для газет и журналов...

— И про что же?

— Про кино.

— Так ты с театром был связан? — спохватился Зулусов. — Кем же ты там был?

— Актером.

— А теперь, значит, свободный художник?

— Ну, что-то вроде этого, — согласился Лепетов. — А ты разве про театр не знал?

— Откуда? Мы же с тобой сколько не виделись...

— Лет пятнадцать? — предположил Лепетов. — Больше?

— Около того... — Зулусов на мгновение задумался, а затем тут же встрепенулся. — Слушай, мне сейчас ехать срочно надо. Давай встретимся, посидим. Номер телефона мой запиши...

На том и расстались. Зулусов зашагал к остановке. Лепетов посмотрел ему вслед и увидел, как тот сел за руль черного джипа и, сноровисто выбравшись с парковки, умчался в сторону центра.

Антону Лепетову было о чем поразмышлять. Что-то в облике Аркадия Зулусова ему показалось странным... Нет-нет, лицо было то же самое, привычно красное, повадки угадывались, тон пробивался игриво-насмешливый, усвоенный еще со школьных времен, и все же было в нем что-то такое, чего Лепетов не знал, и это вряд ли удивительно, когда не видишь человека столько лет, но предполагал как некую приобретенную и неотменяемую значительность, каковая у Лепетова напрочь отсутствовала, пусть даже речь идет о временном затишье, а скорее всего — о передышке.

Впору было в очередной раз осознать свои успехи, которые по новой шкале ценностей выходили весьма скромными. Его жена вообще считала, что он сник. «Ну, постарел, конечно, — продолжал думать Лепетов о Зулусове, — и какой-то немного настороженный стал... Брюшко появилось». Так как Зулусов был пониже ростом Лепетова, он успел обозреть его начинающую лысеть голову. «Я ведь тоже изменился, просто этого не вижу. Я к себе привык». Последние слова показались ему смешными, и он улыбнулся — но больше не себе все же, а предстоящей встрече, на которую, как оказывалось, возлагались неопределенные надежды.

Дома, наливая воду в электрический чайник, он сообщил жене:

— Представляешь, случайно сейчас встретил школьного приятеля... Зулусова... Помнишь, по телевизору его показывали?

— Помню-помню, — отозвалась жена, открывая холодильник. — И где же ты его встретил?

— А вот тут у нас, на Маршака, у магазина...

— И что он здесь делал?

— Я тоже его об этом спросил, а он сказал, что насовсем вернулся...

— Из Москвы? — Только сейчас до Веры Лепетовой стало доходить, о каком именно Зулусове идет речь. — Подожди, это тот самый, который снялся в клипе у Лизы Эль Греко?

«Настоящая женщина», — подумал Лепетов. Про певицу Лизу Эль Греко уже лет пять как ничего не было слышно, она всего-то год, наверное, просуществовала, а его жена Вера до сих пор помнит эту приторную и поповую Эль Греку, канувшую в небытие.

— «Сунул грека руку в реку...» — пробормотал он.

— Что? — не расслышала Вера; мешал шум закипающего чайника.

— Ну да, было такое дело!

В этом пошлом и помпезном клипе Зулусов изображал из себя хозяина жизни, каковым в ту пору, должно быть, себя и мыслил, какого-то невероятного сибарита, объевшегося всего на свете. А Лепетову вдруг вспомнилось другое: как в очередном прямом эфире Зулусов, в связи с отменой

и последующим исчезновением рабочего класса и тем обстоятельством, что взамен народился целый институт охранников, предложил учредить в России новый профессиональный праздник — День охранника.

— Колоритный мужчина, — перебила ход мыслей мужа Вера.

— Да, — согласился Лепетов. — И вот этот колоритный мужчина приглашает нас к себе в гости.

— Вот как? И когда же?

— Не знаю. Надо еще созвониться.

— Ах, созвониться...

Ее ирония была вполне уместной. Лепетов и сам понимал, что забегает вперед, спешит выдать слова Зулусова за действительное намерение. С чего он взял? Это же только слова, всего лишь слова. Обыкновенная вежливость. К тому же Зулусов не спросил у него номер его телефона. Значит, он ему не нужен. Зулусов был снисходителен. Зулусов спешил, у него дела. А вот он, Антон Сергеевич Лепетов, выходит, бездельник. Ему больше делать нечего, как только ждать встречи с бывшим одноклассником, у которого сомнительное прошлое и непонятное настоящее. Может быть, это настоящее еще и неприятно. Ну откуда он знает?

Этот разговор происходил в воскресенье, а уже в среду (надо было все же выждать какое-то время, не бежать на задних лапках) Антон Лепетов позвонил Аркадию Зулусову. Тот сразу ответил, и они договорились о встрече в пятницу вечером, под следующие выходные, как бы после рабочего дня. Зулусов приглашал Лепетова вместе с женой.

— Так во сколько нам надо быть? — спрашивала в пятницу Вера у своего озабоченного мужа.

— В шесть, в шесть, — отвечал он в некотором раздражении. — Сколько раз можно повторять?

— Ой, не знаю, — вздохнула Вера. — Нужна ли я там? Вы-то вместе учились...

— Не говори ерунды.

— Ну, конечно... Мне вот даже идти не в чем к такому человеку.

— Какому «такому»?

— Как ты думаешь... — Вера подошла к шкафу с одеждой. — В белой юбке мне будет нормально?

— Нормально.

— Как-то ты сказал...

— Как?

— Ненормально... Или нет. Все же белое. Вдруг вино мне прольют, не отстираешь потом... Ну не в джинсах же мне идти? Тогда в чем?

— Вот я не знаю, — развел руками Лепетов. — Ты уверена, что там будет вино?

— В клипе он вино пил с Лизой Эль Греко.

— Что? Я же ведь серьезно с тобой разговариваю... Ты лучше скажи, что нам с собой взять? Водку, шампанское? Не с пустыми же руками являться?

— Ну ты придумал: шампанское... Конечно же, водку. Теперь ты мне скажи, как мы поедем?

— То есть, что значит «как»? Разве есть какие-то сложности? Сядем на автобус и поедем.

— Замечательно! — воскликнула Вера. — Даже в гости нормально выбраться не можем!

— Я не понял, — особым образом скривился Антон. — Что-то не так?

— Где уж тебе понять... Неужели мы на такси хотя бы раз в год не можем выехать? Я вот платье собираюсь надеть... Мне обязательно в пыльном и грязном автобусе надо ехать?

— Слушай, если ты имеешь в виду, что мы собираемся в гости к «такому великому» человеку, то ты ошибаешься, — веско заявил Лепетов. — Когда мы в школе учились, он булочки по три копейки в магазине воровал. А я теперь на такси к нему поеду? — вдруг заупрямился Лепетов.

— Нашел, что вспомнить... Зачем тогда к нему вообще ехать? — поинтересовалась Вера. — И при чем тут величие? Ты лучше скажи, в чем твое величие? — добавила она, поднимая большую тему.

— Слушай... — попытался он возразить.

— Нет, это ты послушай... Слушай, слушай! — она два раза повторила, чтобы достучаться до него и остановить. — Если ты такой дикобраз, то я с тобой никуда не поеду.

Довод был серьезнейший. Превращаться в дикобраза Антону Лепетову никак не хотелось, и он вызвал такси.

Глава вторая

КАКИЕ ЛЮДИ!

— Вот и наши гости, — открыв дверь, приподнятым тоном сказал Аркадий Зулусов. Он оглянулся, и из глубины комнаты, больше похожей на зал, блистая проверенной красотой, выдвинулась женская фигура. Она шла, как по подиуму, выставочной походкой.

— Кристина, — представил ее Зулусов Лепетовым.

— Здравствуйте, — с напевной доброжелательностью произнесла она.

В хорошую солнечную августовскую погоду они быстро, без пробок, доехали до указанного Зулусовым адреса. Он жил в центре, в новом доме на улице Алексеевского, на самом верху башни. «Башней» этот дом успела окрестить Вера, и Антон охотно с ней согласился. Он ожидал увидеть квартиру Зулусова, выполненную в духе того самого пошлого и гламурного клипа Лизы Эль Греко, — как его продолжение. Ему мерещились колонны, уходящие ввысь, рассчитанный на большие деньги объем, запыленное вороватым престижем пространство. На деле же все оказалось несколько иначе: никакой пошлости и помпезности, хотя же объем, и пространство были; все выглядело умеренно достойно и функционально, как в какой-нибудь студии, сделанной для рекламного обозрения, но, конечно же, с пониманием о финансовых затратах.

Если холодильник, то вроде амбара с воротами нараспашку. Если телевизор, то гладкой черной панелью во всю стену. Напротив художественное полотно — большая панорама редких цветовых пятен и потухших огней. Рядом аквариум — стеклянный бассейн для одного или сразу двух серебристых ихтиандров.

Увидев Кристину, Антон Лепетов понял, что его школьного приятеля оговорили. Какие уж тут трансвеститы или бордели быстрого обслуживания (нет, ну придумают же?), когда у него такая жена. Она была лет на десять моложе Зулусова. Лепетов ожидал увидеть некое пухлое и изнеженное постельное существо с надутыми капризными губами, каковым являлась Лиза Эль Греко все в том же невыносимом клипе, будь он не ладен, а обнаружил стройную, спортивного вида блондинку с распущенными волосами, в темном — и черном, и синем — коротком платье с загоре-

лыми и худыми, соблазнительными коленами, с ниточкой серебристых бус вокруг тонкой шеи, с большими и внимательными серо-голубыми глазами еще не разочарованного, но кое-что уже знающего о жизни подростка.

Странно даже было подумать, что Аркадий Зулусов ее муж: наверное, он был пониже ее ростом, даже если отбросить возвышающие ее каблукки, и уж точно у него наблюдался лишний вес в весьма зрелой степени одомашненности, преодолеть которую уже стоило труда; толстые ляжки, обтянутые вытертыми черными джинсами, ощутимое тело борца, закончившего регулярные выступления и давшего слабину в отношении радостей жизни, тело, которое безуспешно пыталась обуздать рубашка салатного цвета.

Лепетов инстинктивно втянул живот и вдруг увидел себя и Веру глазами хозяев. Он в костюме с зеленоватым оттенком, красный в полоску галстук, белая рубашка (зачем он все это надел?); Вера все же в белой юбке, пестрая кофточка цветами без рукавов, прическа не повседневная, под выход на концерт или спектакль. У них был такой вид, словно они пришли в квартиру к солидным людям, чтобы рассказать им биографию кандидата в депутаты, достойного человека, баллотирующегося по одномандатному округу их района. И если у Антона по поводу биографии кандидата в памяти зияли провалы, то, глядя на Веру, можно было заключить, что уж у нее-то с памятью все в порядке, она эту самую биографию кандидата выучила назубок, от корки до корки, и уже готова оттрабанивать свой текст. Словом, агитаторы. Выборы на носу, большо-о-ой праздник. Однако агитировать им не пришлось. Вместо праздничного букета цветов избирателю, Лепетов сунул в руки Зулусову бутылку водки в сувенирной упаковке, кашлянул и сказал:

— Я вижу, ты раздобыл.

— Ну, — улыбнулся Зулусов, — вселенная-то, говорят, расширяется, вот и я с ней вместе...

Он пригласил гостей пройти, и они прошли; им показали сначала зал, потом комнату, потом еще одну комнату и еще, и спальню, и места общего пользования, и обратили их внимание на полы, выложенные итальянской мозаичной плиткой, а когда вернулись в зал, Зулусов, обводя привольным жестом хозяина домашний простор, подвел их к широкому и высокому окну, откуда открывался красивый вид на город.

— Антон, ты посмотри, какая красота! — воскликнула Вера и добавила зачем-то: — Ты лета ведь в этом году и не видел совсем. Ходим, в асфальт уткнулись, головы не поднимем.

— Ну почему? — не согласился Лепетов. — Что же, лето мимо меня проходит? Я в нем живу.

— Живут люди, а ты только мечтаешь, — оглядываясь на Зулусова и его жену, сообщила Вера.

— А наш ребенок сказал, что лето — это большой велосипед, — вступила в разговор Кристина.

— Вот так! — засмеялся Зулусов.

— А сколько ему? — спросила Вера.

— Четыре года, — ответила Кристина.

— А наш в пять лет выдал как-то, что осень — это маленькая смерть, — заявила Вера.

— Да ну... — протянул Зулусов.

— Нет, правда-правда, — закивала головой Вера.

— Очень они оригинальные, когда маленькие, — подытожил Лепетов.

Они сели за низенький стол темного стекла. Кристина предложила гостям отведать салат из «даров моря», Вера с готовностью протянула тарелку, Аркадий скрутил голову водке, Антон откусил бутерброд с красной икрой, и завязался разговор — обо всем сразу, как это обычно случается. Сразу же выяснилось, что Зулусовы ждут еще гостей, людей «очень интересных», те уже звонили и предупредили, что задержатся. Естественным образом, в продолжение, заговорили о детях. Четырехлетний Андрейка Зулусов находился у бабушки в Чертовицком; сыну Лепетовых Вадиму исполнилось восемнадцать, он учился в Питере в мореходке на штурмана. Кристина показала фотографию Андрейки, и Вера нашла, что мальчик очень красивый. Со снимка несколько исподлобья глядел (скорее выглядывал) краснощекий упитанный малец, внешне похожий на папу. Сам папа Зулусов при этом как бы нахмурился; было хорошо заметно, что эта тема по какой-то причине ему не близка, и потому свернули на самый простой и беспроегрышный вариант: к разговорам не о себе, а о других, с пятое на десятое. Тут Зулусов оживился, он, видимо, тяготел к сплетням о том, кто, где и как; неожиданно вспомнил про позабытую Лепетовым одноклассницу Людю Б., которая оказалась проституткой; она жила в Москве, работала по вызовам и, по уверениям Аркадия, была «высокооплачиваемой и очень талантливой». В чем заключались ее «таланты», выяснить Антону не удалось, его тут смутило, если вообще что-то могло смутить проходящее по далекому от него разделу «их нравы», другое: то, что она «высокооплачиваемая».

— Это в ее-то годы, да еще с ее внешностью? — поддерживая беседу, удивился он.

— Вот в том-то и дело! — просиял Аркадий. — Я тоже в это поверить не мог!

Потом он вспомнил общего знакомого, который то исчезал по жизни, то снова возникал с какими-то сумасбродными проектами, должными принести верную прибыль, пока не покончил с собой в наступившие кризисные времена. Так Зулусов заговорил о политике, о государстве и о людях, попавших в ловушку:

— Они набрали кредитов, спасая тем самым государство, но не себя. Им ведь каждый день объясняли: вы этого достойны! Какая большая работа велась! А теперь куда им податься, таким «достойным»?

Тут раздался звонок в дверь, и он прервался на полуслове. Поднялся из-за стола и пошел встречать новых гостей. Кристина, воспользовавшись паузой, неожиданно заявила Антону:

— Мне кажется, что я вас знаю. Вернее, знала раньше.

— Вот как? — удивился Лепетов. — А я что-то не могу припомнить... Откуда?

— Я потом об этом скажу, — загадочно улыбаясь, ответила она.

Он уже обратил внимание на то, что она поглядывает на него с нескрываемым интересом, в котором загораются искорки узнавания.

Между тем появилась новая пара: он был в зеленой ветровке, надетой на желтую футболку, его спутница-блондинка выглядела исполнительным офисным работником в своем сером пиджачке и такой же юбке, и глаза у нее были в тон одежде — с холодным оттенком неба, каким оно будет зимой. Вошедший поставил на стол бутылку виски, вокруг горлышка которой была обвязана веревочка с маленькой книжечкой-открыткой, и плотным, поставленным голосом объявил:

— Купи двадцать бутылочек пива «Жузьма» или «Мудвайзер» и получи стикер на лоб с надписью «придурок».

Зулусов засмеялся. Было видно, что они знают друг друга как облупленные, что тема для шуток им хорошо известна и понимание отлажено до легкого намека. Все стало ясно, когда Аркадий представил своих гостей: Максим Друганов возглавлял рекламное агентство, с ним же работала и его жена Светлана.

— А я с тренировки, — сообщил Друганов, как бы оправдываясь за свой спортивный вид. Он снял ветровку, оставшись в футболке и вздохнув, словно отмечая десяток преодоленных в беге километров или сотни килограммов поднятых тяжестей, спросил: — Так вы уже выпиваете?

Лепетову хотелось поговорить о головокружительной карьере Зулусова, узнать о том, как и почему она прервалась; он думал, что они обязательно к этому подойдут, а для чего же еще он встретился с Зулусовым, как не для этого? Но теперь общение приходилось делить на компанию. Лепетов ожидал услышать от бывшего школьного приятеля некое подобие исповеди, встретиться с попыткой облегчить душу, в конце концов, и о театре хотел бы с ним поговорить, если бы вдруг получилось, ведь это было самое неожиданное в Зулусове и интересное, а вместо этого вынужденно смотрел, как бойкий Максим Друганов наливает себе виски из принесенной бутылки и продолжает шутить, оттягивая на себя общее внимание, и явно наслаждаясь своим центральным положением, что для него (это уже становилось совершенно ясно) было весьма привычным делом. Бывалое, непробиваемое лицо, самый рельеф головы, увенчанной густыми, подкрашенными, без какого-либо намека на потери, волосами (такие крепкие ухоженные головы часто показывали по телевизору в новостях; жена Лепетова их подозрительно одинаковое состояние оснащенности волосами окрестила взамен прически «притчей» или, если уж совсем любя, «ладной крышечкой»): все в нем выдавало безусловного руководителя, какого уж там звена — неважно, главным тут было то, что он упивался своей ролью лидера, четко ее знал, не сомневаясь в своих преимуществах, и легко мог их продемонстрировать. У таких людей за пазухой всегда есть сотня, да что там сотня, две, три сотни анекдотов, тысяча, если понадобится, и тысяча разных смешных случаев, произошедших с ними на рыбалке, на охоте, в командировке, или просто на улице, в магазине, дома.

Света открыто любовалась своим красавцем-мужем, а в том, что он красивый и умный, она нисколько не сомневалась. «Вот как мне повезло!» — казалось, об этом говорили ее сияющие серые глаза. Она наслаждалась его присутствием, как самым ценным приобретением в своей жизни. Так, впрочем, и оказалось, когда Зулусов позвал Лепетова выйти на балкон покурить, и он, хотя и не курил, поспешил улизнуть от оживленного монолога Друганова, оставив свою жену Веру разбираться с тем, как там кто-то кого-то подрезал на «ауди», так что пришлось остановиться и отреагировать: «Нормально, мне пофигу, выхожу из машины в камуфляже, с карабином в руке, а парень, меня как увидел, так сразу и присел».

За их спинами послышался смех; Лепетов оборачивался и видел за стеклом, как возбужденный Максим Друганов рубит руками воздух, Зулусов же рассказывал про его жену Свету, про то, как она выбрала себе мужа.

— Она работала в доме моды, а директором там был Максим Друганов, но другой совсем человек...

Зулусов затаился сигаретой и выпустил дым.

— Она его просто обожала, он был для нее всем, прямо-таки идеалом мужчины. — Он сделал паузу. — Беда только в том, что он на нее — ноль внимания. Ну, может, и не совсем так, однако никак не выделял. Там же сколько еще персонала, на любой вкус, каравай-каравай, кого хочешь, выбирай, а она одна из многих. А у нее в голове уже отпечаталось и никак не стереть: Максим Друганов и еще раз Максим Друганов. Даже имя и фамилия для нее знаковые — как символ чего-то недостижимого. Как этот...

Он засмеялся.

— Брэнд? — подсказал Лепетов.

— Что-то вроде этого. Такая вывеска совершенства и благополучия. А тут вдруг случай: встречается ей человек с точно такими же именем и фамилией.

Лепетов улыбнулся, предчувствуя дальнейшее.

— И тут все для нее сразу сбылось. Вот он, практически готовая копия, и возраст почти тот же. Бери и пользуйся. Ей ведь главное, чтобы он назывался Максимом Другановым.

— А если бы он занимался чем-нибудь другим? — предположил Лепетов.

— Ну, повезло, — развел руками Зулусов. — Познакомилась с ним в санатории, замуж вышла...

«Все это, конечно, весьма любопытно, — успел подумать Лепетов, — но не об этом я хотел поговорить».

Зулусов неожиданно прервался и провел рукой по воздуху, сделал широкий театральный жест:

— Смотри, какой вид отсюда открывается. Рано утром слышно, как петухи поют.

— Петухи? — удивился Лепетов.

— А снизу, со спуска...

Это был жест хозяина, приглашающий гостя насладиться его владениями, и Антон, уже разогретый водкой, подумал, что Зулусову принадлежит не только эта замечательная во всех отношениях квартира, но и все окрестности находятся в его власти; ну или, во всяком случае, он может их приобрести, если захочет. Уже ощутимо стемнело, в вечернем воздухе, на высоте, открылась внезапная свежесть, нависшая над нагретыми днем улицами, и повсюду стали зажигаться и показываться огоньки. Некоторые из них двигались в одном направлении, складываясь в непрерывную ленту, и в этом потоке движения Лепетов стремился угадать его принадлежность местности. То ему мерещился Чернавский мост, а вот там, подальше, Северный. То представлялось, что он вообще видит этот город впервые, ему тут ничто не знакомо, совсем не за что зацепиться, и все он открывает для себя впервые. Окружающая зелень деревьев скрадывалась темнотой до тусклого стального оттенка каких-то застывших в покое механических изделий. Зеленые круги желтого переходили в тайные фиолетовые пятна. Насыщенная и умиротворенная синева обнимала остатки ярких видений дня, и они ровно и согласно угасали, пропуская вперед разнообразие сумрака. Вот погас прощальный тревожный розовый блеск в углу неба — и все, картина вечера выравнялась по цвету.

В Лепетове что-то отозвалось знакомой интонацией ожидания, каким-то непонятно чем вызванным душевным подъемом. И он вдруг вспомнил, как много лет назад, после окончания школы, вот так же в

августе, стоял у большого окна на шестом, последнем этаже (крыша угла) дома на Маршака, отданном под мастерские художников. Художником был папа девочки, пригласившей Лепетова и еще нескольких одноклассников в гости. Они рассматривали его картины, теперь уже совершенно выпавшие из памяти, висевшие вдоль лестницы наверх, к потолку. Некоторые холсты лежали на столе, другие стояли в подрамниках или были прислонены к стене. Повсюду царил творческий беспорядок с обязательными потеками краски на банках и засохшими кистями. Девочка эта, Таня, рассказывала, как ездила поступать в Ленинград, а еще о фестивале скандинавского кино, о фильме Бергмана, которые видела. Лепетова последнее весьма заинтересовало. Разумеется, тогда он еще не знал, что спустя годы будет сам писать о кино. И пока что слушал Таню, немного завидуя ей, а потом стоял у высокого окна, которое возвышалось над крышами соседних домов, и смотрел на вечерний закат, на верхушки тополей, тронутые солнечным румянцем. И так же закрывался угол неба, только более багровый и торжественный, и мысли все были в Лепетове, устремленные только вперед, готовые к каким-то открытиям, к интересной и содержательной жизни. Собственно, цвет неба и окрашивал его мысли в благоприятные радужные тона, а панорамный обзор района намекал на жизненные перспективы. Все вместе внушало ему какие-то надежды, придавало уверенности в своих силах и вызывало приподнятое настроение — как готовое оправдание будущего. Пока что сбылось только одно: то, что он стоит на балконе у своего одноклассника Зулусова, любуясь видом и небом, в точно таком же состоянии, что и двадцать лет назад, состоянии ожидания перемен, какого-то поворота в жизни со знаком плюс.

Получалось так, словно он уже заранее знал тогда, когда стоял у окна в мастерской, что спустя двадцать лет будет стоять на балконе у Зулусова с теми же ощущениями, а теперь к ним еще добавлялось признание, похожее на неприятную уверенность в том, что иначе и быть не могло. Вряд ли это был тот случай, когда повторение являлось матерью учения. Еще немного и Лепетов дошел бы до неутешительной мысли о том, что еще через двадцать лет с ним будет происходить все то же самое, и ладно бы в каком-нибудь другом месте, но Зулусов гасил окурки, и они возвращались в зал, где декорации существенно поменялись. Максим Друганов сбрасывал свой криминальный камуфляж и облачался совсем в другие одежды: «И так спокойненько глушу мотор, выхожу не спеша в костюме, при галстукe, они так и обалдели сразу...» Судя по оживленному лицу Веры, тут все было нормально и развивалось в традициях застольных разговоров. Сближение состоялось, все участники удачно и довольно скоро определились по своим местам: кому без умолку, с распиранием, говорить, кому согласно внимать, выдавая свое приятие мимикой.

Приподзванный Лепетов, однако, отметил, что еще с балкона камуфляжный рассказчик смотрелся неким картонным персонажем, размахивающим руками, потому что кто-то еще более важный дергает его за веревочки, хотя сам Максим Друганов, конечно же, нисколько не сомневался в том, что это именно он дергает всех.

Тем временем от пацанских бытовых приключений перешли к кино, заговорили о последнем фильме Мартина Скорсезе. Жена Максима Светлана восхищалась — даже как-то слишком.

— Товарищи, это такой фильм! — объявила она, прикладывая к гру-

ди обе руки. — Такой фильм! У меня просто слов нет... Одно слово: мастер. Я за последние годы ничего лучше не видела.

Круглые глаза, открытый рот, на лице выражение предельного восторга, отражение увиденного чуда. У Лепетова даже мелькнула такая мысль: вот готовая натура художнику для картины под названием «Неописуемый восторг».

Разделить ее чувства было некому, потому что, как оказалось, никто больше фильма не видел. Вера по инерции спросила у Светы: «Правда?» и покосилась на мужа. Как бы ответил ей Друганов, улыбкой отказываясь от какого-либо мнения:

— Я работаю все время, мне смотреть некогда. Это Светка у нас смотрит...

Веревочки ослабли.

— А вот тут есть специалист по кино, — сообщил Аркадий Зулусов, подливая себе водочки, и рюмкой указал на Антона. — У него и спросим. Теперь настала очередь Свете спросить:

— Правда?

Она несколько сбилась, а Лепетов, слегка нахмурившись, признался, глядя в стол:

— Я не знаю, какой последний у Скорсезе фильм, а для меня последним стал «Авиатор». С тех пор нет желания смотреть, не слезу.

— Интересно, почему? — спросила Света.

— А потому что как-то исыак он, задавленный коммерцией... Вот «Авиатор»... — Лепетов поднял глаза. — Глянцевая история жизни американского миллиардера Говарда Хьюза, который боялся вымыть руки в фешенебельном туалете...

Вера хмыкнула, а Лепетов продолжил:

— Вместо Говарда Хьюза я вижу перед собой молодого Леонардо ди Каприо, который мало того что не похож на него, так еще и недостоверно ломается, изображая психологические проблемы. Фильм идет почти три часа — и все на холостом ходу. А какой там нелепый огромный самолет, нарисованный на компьютере! Весь такой по-голливудски надутый. Торжество целлулоида, компьютерной графики. И меня хотели потрясти этим гигантским муляжом? Самое интересное и настоящее в этом тяжеловесном шоу — это подлинные кадры из фильма 30-х годов, который сам Хьюз снимал в качестве режиссера.

— Звучит как приговор, — заметил Зулусов.

— Да какой там приговор, — не согласился Лепетов. — Голливуд сам себя приговорил... Возьмите «Банды Нью-Йорка» того же Скорсезе. Снова почти три часа криминального опереточного шоу. Якобы происходит в XIX веке. Эдакая помесь «Парижских тайн» и «Отверженных». Скорсезе предпринимает попытку создать новую американскую мифологию, предлагая зрителю коммерческую стилизацию под исторический рассказ о становлении демократии.

— Какие люди! — воскликнула Светлана и обратилась к своему мужу: — Нет, ты послушай, какие люди! Как интересно!..

— Я слушаю, — кивнул Друганов.

Лепетов несколько смутился, но продолжил:

— А «Век невинности», снятый им в 90-е? Смотрели?

— Я смотрела, — сказала Кристина; в ее взгляде Лепетов снова отметил интерес, который говорил о чем-то еще, но вот о чем? — он не мог собразить.

— Там явно слабовата литературная основа. Эдит Уортон все же не Лев Толстой. Скорсезе старательно воссоздает дух эпохи, в который не верится...

— Почему же? — возразила Кристина. — Мне верилось.

— А мне нет, — не согласился Лепетов. — Мне как бы представляли наглядные доказательства, чтобы я поверил. Вот про аристократизм Европы XIX века и доказывать ничего не нужно, а тут все под большим сомнением. Даже оператора Фассбиндера Михаэля Бальхауза пригласили, чтобы он зафиксировал все улики, ничего не пропустил... Так он тщательно снимал все эти столы со снедью, вилки, ложки, ножи, тарелки и прочее...

Зулусов и Вера засмеялись, Кристина улыбнулась, а Светлана снова воскликнула:

— Нет, ну какие люди! Как интересно!

Ей словно с кем-то еще хотелось поделиться своим восторгом от встречи с «таким интересным человеком». Если бы у нее в эту минуту спросили, как называется последний фильм Скорсезе, она бы не ответила. А если бы ей напомнили еще, что вот только что она им восхищалась, она бы пришла в полное недоумение.

Заявленный во множественном числе Лепетов скромно откашлялся и испытал новый прилив воодушевления:

— Вот еще «Кундун» возьмите...

— Что? — напрягся Максим Друганов.

— «Кундун» — фильм так называется... О детстве и юности Далай-ламы, — пояснил Лепетов. — Там есть забавный эпизод, где тибетские монахи пишут письмо президенту США...

— Как запорожские казаки турецкому султану? — усмехнулся Друганов.

— Да, что-то в этом роде. С просьбой о помощи, с жалобой на китайских коммунистов. — Лепетов сделал паузу. — Наверное, просили, чтобы президент Трумэн сбросил атомную бомбу на китайцев, как он уже это сделал с японцами.

— Да ну, — недоверчиво протянула Вера, — они же буддисты.

Тут уже засмеялись все. Потом выпили, становясь еще ближе друг другу, объединяясь в согласный и отзывчивый организм. Пытались даже танцевать. В соседней комнате, отданной под кабинет, дивились большому аквариуму с напыщенными, сияющими радужным презрением рыбами, усмирить которых, если что, могла лишь раскаленная сковородка.

Выходили уже в пустоту ночи, выбирались к одиночеству улицы, шумно спускались в лифте, — с расслабленным, довольным смехом, с продолжением недоговоренных разговоров.

— А как же «Оскары»? — допытывалась Светлана.

— Ну что «Оскары», Света, — пожимал плечами Антон. — Это ведь праздник американского кино — и только. Все обесценивается, сводится к примитивизму, приходит в упадок... А вообще все это такая ерунда, — заключил он, мотая головой. — Все эти стивены спилберги...

— Какие люди... — мечтательно вздыхала она, а погрузившийся, перебравший лишнего Зулусов тянул куда-то:

— Люди, следуйте за мной...

Стояла такая погода, какая бывает в Воронеже от силы раза два в году. Дождя еще не было, или он прошел прежде, дня два или три назад, и произвел природное очищение улиц от песка, пыли и грязи, смыв все в стоки. Возникшее ощущение промывности и чистоты продержится около

недели, не больше, потом все вернется. Осень подбирается к городу ночью, ее едва еще слышно. А весной эта неделя выпадает в конце апреля — начале мая и продлевается цветением черемухи и сирени. Все еще только собирается блестеть свежим натуральным гляncем, еще не тронута осевшей пылью, не вылезает на видное место песок. Смирный дождик прибывает пыль к асфальту и позволяет дышать полной грудью. Все еще только начинается — как весной, или продолжается — как осенью, и продолжается хорошо.

Аркадий вывел компанию на Театральную, дальше повернули к Кольцовскому скверу и оказались у винного магазина, рядом с бывшим магазином «Часы», что на площади. Максим пытался взять такси, а Аркадий его все урезонивал:

— Успеешь еще. Ты посмотри, какая погода! Все спешим и спешим — куда? Когда еще увидимся?

Он потащил его в винный, Вера со Светой отправились следом, а Антон остался с Кристиной стоять на улице. Он вспомнил, что когда они танцевали у Зулусова, ему хотелось спросить ее, откуда она его знает, но им помешали; он сбился, а потом уже забыл это сделать. И вот возможность, подходящая минута перейти от выяснения, что они там возьмут, в этом винном, и вообще зачем, к источнику загадочных взглядов, выяснить все, объясниться.

Поодаль маячил парень лет двадцати — топтался у проезжей части, словно ожидая кого-то. И вроде бы поглядывал на них — еще сразу, когда они были всей компанией. Теперь же он вдруг подошел и сказал Кристине:

— Я люблю вас.

На нем была жилетка цвета хаки, надетая на черную футболку, у него блестели глаза, он был, видимо, возбужден.

Кристина никак не отозвалась на сделанное ей признание. Создавалось впечатление, что ей не внове сталкиваться с подобными неожиданностями, тем более на ночных улицах — ну мало ли чудачков? Внешне она оставалась спокойной, даже головы не повернула к подошедшему, и только ее левая бровь, близкая к Антону, немного приподнялась. Самого же Антона задело то, что этот странный парень не обратил на него ни малейшего внимания, словно его тут вообще не было.

— Я люблю вас, — повторил он, ожидая хоть какой-нибудь реакции. Он был явно на взводе. «Пьян? — подумал Лепетов. — Не похоже. Если только немного». А еще он подумал, что может случиться драка, потому что уже решил вмешаться.

Тут из винного показались Другановы с Аркадием и Верой. С собой они несли объемистый пакет и веселое настроение. Всего несколько шагов, и напряжение спало: так же неожиданно, как и появился, парень отлип, вернувшись к бордюру, словно и не подходил вовсе, оставшись для подошедших незамеченным. Пошатываясь, он передернул плечами, опустил голову и застыл в прежнем ожидании. Лепетов спросил себя: «Что это было?» Кристина поинтересовалась у Аркадия:

— Что вы там набрали?

— Ничего особенного и сверхъестественного, — ответил он, приподнимая пакет. — Водка, пиво.

— А пиво зачем?

— Так темное. В самый раз, если кто водку не будет. Да и после водки неплохо...

Завернули за угол и зачем-то побрели на Театральную, потом одумались, перешли дорогу и оказались в сквере у памятника Бунину. Когда Лепетов решил на пиво, ему показалось, что бронзовая собака, прильнувшая к ногам писателя, повернула в его сторону морду.

Неугомонная Света продолжала восхищаться, как будто это занятие было ее основной функцией, и ничего больше в жизни она делать не умела, — вот только округлять глаза и широко вещать, и чтобы товарищи люди внимали и разделяли. Теперь предметом ее восхищения оказался Набоков, на что, скорее всего, каким-то образом повлиял памятник Бунину. Если она говорила специально для Антона, то добила несомненного успеха, другого, правда, свойства, потому что он, конечно же, откликнулся:

— Ну что Набоков? «Лолита» там, «Приглашение на казнь»... Если Кафка писал и сам оказывался насекомым, то у Набокова все иначе: это не я, говорит у него каждая строчка, это вы насекомые. Там, где у Кафки страдание, у Набокова карнавал с картонными персонажами. Очень он ловко орудует ножницами, когда их вырезает... Я в нем окончательно разочаровался после рассказа «Сестры Вейн». Не читали?

— Нет, — ответила Света за всех.

— А вот почитайте. Такой он там весь жеманный, заполненный несомненным изяществом, скрытым очарованием и тончайшим юмором, — с иронией проговорил Антон. — Прямо на глазах Набоков превращается в претенциозную гусеницу, безуспешно пытающуюся вползти в сознание читателя...

— Гусеницу? — спросила Кристина. — Не бабочку?

— Именно гусеницу, — продолжил он, — с лакейской основательностью выписывающую пустоту. Это мир глазами лакея, который все подмечает, каждую мелочь. Лет сто назад, в каком-нибудь изысканном салоне перед Первой мировой войной, это произвело бы неизгладимое впечатление на расслабленных господ. Так и представляется какой-нибудь псевдочеховский киношный персонаж, который восклицает: «Господа! Господа! Вы только послушайте, как господин Набоков описывает сосульки! Ну разве не чудо?!.. А какие сестры!..» Кажется, в послесловии к «Лолите» Набоков высказывался в таком духе, что литература ждет, когда появится кто-то, кто сметет и разобьет в пух и прах всех этих фальшивых авторитетов: Томаса Манна, Бальзака, Горького и прочих... Насколько же фальшив сам Набоков! Он похож на старушку, которая вяжет бесполезный носок. Вспомните его фото, где он изображен вполборота в пенсне. Мысленно наденьте на его голову чепец, и вы получите готовую старушку. Два носка она никогда не свяжет, ей достаточно одного, и чтобы ни на какую ногу не налез, он не для этого. Этот носок декоративный. Упрямая старушка обязательно хочет его продать и получить признание за немислимую красоту. Пора уже эту выжившую из ума старушку выбросить на свалку...

— Bravo! — воскликнул Аркадий.

— Ну, ты и выступил, — хмыкнула Вера.

— Как — «на свалку»? — встрепнулся Максим и заканючил: — Старых-то людей пожалейте...

— Интересная получилась лекция, — сказала Кристина.

— А кого же тогда читать? — растерянно спросила Света и оглянулась на Максима.

— Это не ко мне, — развел он руками. — Когда мне читать? Это вот... — Он кивнул в сторону памятника.

Антон улыбнулся; запал оратора в нем иссяк.

— Все верно... — Он задумался. — Или вот хороший пример эмигрантской прозы: Гайто Газданов. Достаточно взять его «Ночные дороги» и «Возвращение Будды» и вы забудете про эту старушку-фокусницу в пенсне, виртуозно раскладывающую пасьянсы...

Глубина ночи уже достигла дна, затихала даже ночная жизнь. Стало по-осеннему зябко. Потянуло сыростью и будущим дымком от тлеющих листьев. В стороне послышался одинокий звук проехавшего автомобиля. Освещенный асфальт по-домашнему зернисто блестел и намекал на свободную дорогу домой. Водку так и не допили, а вот пиво, словно бальзам, пришлось кстати. Аркадий протяжно зевнул, давая сигнал к окончанию затянувшегося вечера. Расставались еще долго, шатались, разбиваясь на пары, с объятиями, поцелуями и обещаниями обязательно встретиться снова.

Лепетовым оказалось по пути с Другановыми. Они вышли к «Итальянскому дворику» на Кирова и на остановке Куцыгина взяли такси. Сразу две «Оки» их ожидали, и это было удивительно: встретить такую маленькую машину как такси. Даже светящийся короб с шашечками на крышах у них имелся. Спьяну полезли было в одну «Оку», да куда там вчетвером, если и трем взрослым пассажирам будет тесно. Пришлось разделиться. Снова попросились: объятия уже были сдержанными и даже торопливыми. Максим, однако, успел рассказать, как где-то месяц назад был в гостях у Зулусова, и снова засиделись до глубокой ночи, а когда он вызвал такси, то приехал джип — вот это был номер! — и тоже, как положено, с шашечками. В общем, вернулся домой с комфортом.

Вдобавок ко всему водителем у Лепетовых оказалась девушка. По пустой дороге доехали быстро. Уже в квартире Вера снова заметила: «Ну, ты и выступил сегодня, прямо солист в опере». Он и сам не знал, что на него нашло. Но надо ли было ему в чем-то оправдываться? Усмирив чувство жадности, он выпил на кухне стакан воды. Возможные сплетни пресекались только одним способом: надо было завалиться спать.

Уткнувшись головой в подушку, он вдруг вспомнил то, что было так и не решено, как задачу или загадку: странные взгляды Кристины (или ему показалось?), ее слова «потом скажу»... Что бы это все значило? Потом еще это: ведь он так и не сумел поговорить с Аркадием о том, о чем хотелось. Московская жизнь, театр, телевидение... Всего этого Аркадий как-то избежал — как будто это не про него, а про какого-то другого человека. Не хотел вспоминать, берeditь былое?

А общий знакомый, про которого Зулусов сказал, что он покончил с собой, Сашка Горелов... Как он выглядел, Антон уже не мог вспомнить, ни малейшей черточки не осталось. Надо же, его облик начисто исчез из памяти, словно его никогда и не было.

Антон Сергеевич Лепетов перевернулся на другой бок и заснул. Под утро он встал по понятной необходимости и уже у туалета тяжелой головой сообразил, что прервал череду бессвязных картин, отраженных в его отключенном сознании. В последней, не ускользнувшей из памяти, он стоял у магазина «Часы» на площади и говорил равнодушной, глядящей в сторону Кристины: «Я люблю вас!»

ПРИГЛАШЕНИЕ

Антон Сергеевич Лепетов погрешил бы против истины, если бы взял за утверждать, что живет исключительно на свои статьи о кино, которые его жена Вера с легким оттенком пренебрежения (спасибо, что не презрения) называла «писаниной». Она не стала бы мириться с таким положением дел, имея в виду сомнительную доходность подобного предприятия. Выручали деньги, доставшиеся ему от бабушкиного наследства. Вернее, ее двухкомнатная квартира в центре, которую он удачно продал еще весной, — сразу, как только стало возможно это сделать. Конечно, Вера хотела жить в центре, она просто мечтала об этом, но разум взял верх над чувствами хотя бы в этом вопросе: квартире все же требовался какой-никакой ремонт, вытягивающий и средства, и время. А ждать не хотелось, хотелось жить — вот прямо сейчас, и когда же еще, если не сейчас, когда уже возраст начинает подпирать?

Была все же у Антона определенная грусть, основанная на воспоминаниях детства: бабушкино лицо, ее узловатые руки, все тепло, которое они отдавали... Образ неразрывно сочетался с квартирой, увязал в ней: длинный, торчком, пенал часов с боем, шифоньер, украшенный скатертью с бахромой, скрипучий деревянный пол в коридоре с коричнево-желтыми подпалинами, конфеты, которыми бабушка его угощала, начиная с детства, продлевая эту привычку вперед, — те же самые, которые он ей и приносил прежде. В этом срезе бесконечности имелось знаменательное оконце: ее девяносто лет, года весьма почетные по нынешним и не только временам, юбилей, который отмечали так усердно, что венцом стали ее слова: «Как на Маланьину свадьбу наготовили. Это кому же все есть?» И вот ее тихая, упорядоченная жизнь завершилась. Ну что тут поделать: с прошлым приходилось расставаться как с неизбежностью.

В общем, денежные средства были. Жить было можно, но, как выразился один неприкаянный персонаж, «только мы не умеем». И даже если Антон Лепетов не относил себя к категории неумеющих, у него все равно имелись обоснованные опасения, которые сведущие люди называли «рисками». И когда, скажем, цены на нефть падают, а бензин в цене растет, или вместе с падением доллара еще больше падает рубль, и то же самое с рублем происходит, когда доллар растет, так это все равно одно получается — «попасть в кугу», как сказала бы покойная бабушка. Так что приходилось задумываться, сколько же надо денег, чтобы прожить хотя бы свою жизнь, а не заимствованную откуда-то. И вывод тут напрашивался один: мешками их грести надо, мешками — никак иначе.

Жизнь Антона Сергеевича Лепетова была упорядоченна и даже скучна. Сложилось так: вставал он часов в девять, не раньше, так как спешить ему было некуда; пил кофе, иногда какао, но чаще чай. Читал новости в Интернете, проверял почту, из Интернета же скачивал фильмы, о которых потом писал; в кино выбирался редко, по особым случаям. На сибарита он не тянул, конечно, но близок был к тому, чтобы именоваться фрилансером.

Иногда куда-то выбирался, в люди, или, как однажды выразилась подруга жены, приехавшая в гости из подмосковной деревни, «в город», — если затевались какие-то интересные мероприятия, на которые его приглашали знакомые (друзей у него не было).

Собственно, это была жизнь без цвета и без запаха. Он и сам это хорошо понимал, но скучать ему не приходилось. В большей степени за него беспокоилась жена, она была сторонницей традиционного образа жизни — это чтобы утром уходить на работу, а вечером возвращаться домой — и словно не замечала, что от прежнего образа жизни мало что осталось, что все зависит от собственной предприимчивости и удачи.

Предприниматель из ее мужа был слабый, скорее, вялый. Наверное, его устраивало все, как есть. Ну, во всяком случае, большая часть этого неопределимого всего. Он подходил на кухне к окну (а жили они на четвертом этаже) и смотрел во двор. Перед ним разворачивалась философия жизни в лицах и персонажах. Вот из-за угла дома показался сосед — шел не спеша, из последней возможности, старательно обходя припаркованные машины; запыленные домашние тапочки на ногах, синие спортивные штаны с широкими лампасами, черная майка, проходящая уже, наверное, по третьему кругу черноты, в ней смело еще до октября можно во дворе появляться; вся фигура какая-то потревоженная, согбенная, ущемленная по собственному желанию, в лысой голове прячутся редкие волосы, насильно зачесанные назад. Мужу за шестьдесят, на пенсии, а все зовут его Петечкой. Недавно жаловался женщинам у подъезда на здоровье: сердце, давление, ноги еле идут, таблетки не помогают... Вот доковылял теперь в «Магнит» за лекарством — взял бутылку водки. Верное средство, это излечит.

С другой этой стороны появляется ладный черноволосый мужчина неущемленной южной внешности — весь как единый и бесперебойный рыночный механизм. Он садится в белую «ауди» и быстро уезжает.

По другой траектории, прямо к подъезду, взбираясь на пригорок, с трудом двигалась женщина, заведенная на недовольство. Сразу с двумя внушительными пакетами в руках. Никаких тебе пленительных и плавных женских изгибов. Кругломордая, с короткими ногами, вся словно одним обручем отмеренная и скованная, с глазами-буравчиками на тяжелом лице бабы с характером. «Стоп, — сказал себе Лепетов. — Так ведь это же соседка, не узнал».

— Представляешь, — обратился он к Вере, — я соседку нашу не узнал.

— Какую соседку? — Она оторвалась от кухонной плиты и выглянула в окно.

— Уже прошла. Маргариту Алексеевну. Вернее, узнал совсем с другой стороны. Раньше мне казалось, что она сбитенькая такая, дутенькая вся, а теперь вдруг пенсионерку в ней увидел...

— Ну, ты даешь... Рита — пенсионерка? Да она одного с нами возраста.

— Разве? Никогда бы не подумал, — хмыкнул Лепетов. — Вообще, когда вот так на людей из окна, сверху, смотришь, сразу видно, кто чего стоит. И многое понимаешь.

— Интересно, что же? — спросила Вера; она убрала кастрюлю с плиты и поставила сковородку.

— Да вот хотя бы, что отсутствие волос на голове делает мужчину не мужественным, а беззащитным.

— Ну, тебе это, по-моему, пока что не грозит, — сказала она, окинув взглядом его темноволосую голову. — Ни одного седого волоска. Просто чудом уцелел.

— Спасибо, — кивнул он. — Или вот смотришь, сидят на лавочке две

подружки-школьницы. Смеются, шепечут что-то, как две птички на жердочке. И теперь уже понимаешь, что недолго все это веселье продлится. Замуж выйдут, ляля появится, и все, закончилась жизнь, открылся сезон бесконечных забот: муж начнет пить, она ему изменять, или наоборот, без разницы, но в общем как-то нескладно все у них получится.

— Ух, ты, как все по полочкам разложил и не ошибся, — съязвила Вера.

— Да я бы хотел ошибиться, но это жизнь расставляет по местам, как ни брыкайся. Из того ряда, в который ты втиснут, уже никуда не выберешься.

— Злой ты очень.

— Я не злой, — вздохнул Антон. — Это просто возраст такой: больше ненавидишь, чем любишь.

— Это ты к чему?

— Усталость накапливается, раздражение — неизбежный процесс. Уже все знаешь, как называется, и не совершаешь никаких открытий. Знаешь главное — чего не хочешь. Разочарование — верный признак... — Он снова повернулся к окну, отвлекаясь на улицу, и проговорил куда-то еще, уже тише: — Вся былая красота вылезла наружу.

Она пустила воду в раковину и не расслышала:

— Что ты сказал?

— Это я так, — замылся он. — Очередная картинка с передвижной выставки.

— Знаешь, — сказала она, вытирая полотенцем руки, — иногда я тебя просто не понимаю.

— А ведь я всего лишь хотел сказать, что хорошего человека в жизни найти не так-то просто.

— А по мне, так и не надо искать хорошего человека. Зачем? Надо найти делового человека, этим он и будет хорош, — твердо сказала она и спросила: — Ты с Аркадием собираешься поговорить?

— О чем? — не сообразил он, теряясь от внезапности совершенного женой перехода.

— Ну, о чем еще можно говорить с Аркадием Зулусовым на самом деле, как не о деньгах? О твоих деньгах, — пояснила она. — О том, куда их можно вложить.

— Ах, вот о чем... — В этом вопросе, надо было признаться, он был непозволительно расслаблен. Наследство его временно успокоило, но успокаиваться все же было нельзя. — Надо, конечно. Обязательно.

— Он же может тебе помочь, с его-то опытом.

Было видно, что его несообразительность и легковесность ее раздражают. Вот только непонятно ей, он специально так делает?

— Да-да, — согласился он, внутренне противясь ее настойчивости; внешне это отразилось морщинками на лбу. Ему не нравилось, когда его понукали, тем более что хозяином положения все-таки являлся он. Он отставил эту тему, вернувшись к своим изысканиям. Ему просто хотелось договорить. — И вот что еще интересно, только сверху это увидишь, когда мать идет с ребенком, за руку его тащит, — насколько он мал и зависим. Так вот понимаешь, что ребенок — это мечта о совершенном человеке.

— А ты человек поврежденный, — не выдержала Вера, — мне это совершенно ясно.

— Я? — деланно удивился Антон и пожал плечами. — Да тут все такие люди, поврежденные. Ты только в окно посмотри. Вот кто это?..

Уговаривать ее не пришлось, ей надо было взять с подоконника сахарницу. Мельком взглянула, с неудовольствием.

— Николай Иванович.

Несвежий пиджак, такие же серые брюки, заканчивающиеся на пыльных круглоносых ботинках; лицо опытное, загоревшее в буднях, поднаторевшее в отказах и осторожное в желаниях, лицо человека из кабинета с расслабленным узлом галстука, с достойно поседевшей «крышечкой»; крепко за сорок, лет пятидесяти, возраст спрятанный, как и глаза, но не старше — таким увидел его Антон. Можно было не сомневаться, что Вера увидела его иначе, — если только подсказать ей?

— Какой Николай Иванович? — теперь уже натурально удивился Антон.

— Начальник нашего домоуправления. Слаб по мужской части.

— Это как же?

— Скоротечен.

— А что, проверяли его? — усмехнулся он. — Кто?

— Да кто только его не проверял. Та же Маргарита и проверяла... Ладно, ты мне зубы не заговаривай, — спохватилась Вера. — Ты про дело не забудь узнать, а то в облаках много витаешь.

— Это не облака, — возразил он. — Облака были раньше. Вот это были облака так облака... Я тебе сейчас расскажу...

— Может, не надо? — вздохнула она; ее глаза уже умоляли, пытались его остановить.

— Нет-нет, это интересно, — расцвел он. — Я вспомнил одну историю. Просто она даже мне, возможно, поможет, пока я буду ее рассказывать, — поможет, если не понять себя, то хотя бы подскажет что-то...

Его воодушевление ей было непонятно. Она уже не протестовала, занявшись наведением порядка в мойке.

— Это была пустота выше любых облаков, беспредельная, причем внутри меня. Я ее буквально чувствовал, до холодка в затылке. Случай нелепый, самый заурядный, так что даже рассказывать о нем сейчас, словно разворошить какое-то давнее преступление. — Он улыбнулся, как бы подготавливая себя к признанию каких-то давних промахов, которые стороннему слушателю могли бы показаться сущим пустяком. — Это после окончания школы сразу было, летом. Наверное, так. Или на первом курсе уже... Впрочем, не это важно, а другое. Я тогда на футбол ходил, смотрел, как наш «Факел» играет. Болел до дрожи в ногах, сам мяч хотел пнуть — сейчас смешно об этом вспомнить... Билеты покупал заранее — как только в продажу поступали. Программки все собирал. У касс терся, в очереди стоял, таблицу результатов изучал, разговоры болельщиков слушал. Тогда у касс на стадионе болельщики собирались, чтобы поговорить о футболе, новости какие-нибудь услышать, ну и вообще знатоками себя выказать...

— Зачем ты мне это рассказываешь? — прервала его Вера; в ее взгляде поблескивали огоньки раздражения.

— А о чем мне тебе рассказывать? — возразил он. — О том, чего у меня нет?

— Вот только это у тебя и есть? — В ней прорвалось какое-то сильное чувство, в котором больше всего было сожаления.

— Я знаю, что ты хочешь сказать, — не сдавался он. — И понимаю, куда ты метишь. Но выслушай меня, осталось совсем немного.

Создавай впечатление, что он хочет убедить самого себя в чем-то

таким, в чем он и сам не уверен. Что же говорить о Вере: ее эта неясность приводила в уныние и вызывала ощущение абсурдности происходящего.

— Однажды я задержался рядом с кассами, где собралась группа болельщиков. Там спорили о достоинствах команд, давали прогнозы на исход матчей. Самая обычная говорильня. С шутками, смехом. Человек двадцать примерно — кто-то прибавится, кто-то уйдет. И вот стоял я и слушал — минут десять, потом полчаса. Наверное, хотел приобщиться к атмосфере будущей игры, пропитаться настроением и ожиданиями. Ни слова при этом не сказал, только слушал из-за спин. Но вот уже и час так прошел, публика почти вся сменилась, кроме самых закоренелых и говорливых, тех, кто все это случайным начал, а я так и стою там, с ноги на ногу переминаясь, улыбками свое участие отмечаю. Потом круг болельщиков уменьшился, сузился, люди стали расходиться. Уже, наверное, часа два прошло. Наконец, всего пять человек осталось, и я среди них по какой-то слабости, случайным элементом, сбоку, потому что уже понятно стало, что они знают друг друга и собираются тут постоянно, чтобы почесать языками на досуге. Я их вообще не знаю, первый раз вижу, но продолжаю стоять, как приговоренный, и улыбаться иногда на какую-нибудь реплику. Это уже точно больше двух часов прошло, третий на исходе. И тут один из них, постарше, говорит всем: «Пошли на стадион». Иду следом, так ни слова не проронив. Лето, солнце, жарко. Ворота стадиона открыты. Проходим мимо трибун, не спеша выбираемся на зеленую траву футбольного поля. Они переговариваются между собой, отпускают замечания по поводу ширины поля, высоты ворот, на меня поглядывают, я продолжаю глупо улыбаться, уже понимая, что попал в дурацкую ситуацию. Хороший безоблачный день, легкий ветерок. Уже больше трех часов на ногах в компании незнакомых людей. Что я тут делаю? Теперь уже нельзя просто так взять и уйти. Я оказался в ловушке, сам себя в нее загнал. Переживаю молча, улыбаюсь вымученно. Меня съедает время, как бесполезную вещь. Мне остается только внутренне съежиться. Наваливается вдруг такое чувство опустошенности, что становится просто не по себе... Как это все закончилось? Уже не помню, настолько был вымотан и раздавлен открывшейся бессмысленностью происходящего. Один позвал куда-то того, кто был в очках, остальным было в другую сторону. На выходе из стадиона я опустил голову — было неловко, было невыносимо стыдно от собственной никчемности, от того, что не принадлежу самому себе. Уже не улыбался, не встречался глазами — скорее прочь, чтобы развеялось и забылось все, как дурной сон. словно я неслыханную подлость совершил, такую, что не отменить никак и не искупить. Несколько часов тяжелой, совершенной пустоты. Такой груз нелегко сбросить. Наверное, что-то тогда уже было во мне заложено, иначе как объяснить, что я потратил столько времени впустую? Ведь мне уже лет восемнадцать тогда было... или всего... не знаю. И разве мог я знать, сколько мне еще предстоит его потерять подобным образом? Меня с тех пор на стадион не затащишь, я даже по телевизору футбол смотреть не могу!

— Какую ты мне картину развернул, — сказала Вера, — аж голова у меня разболелась.

— Не знаю, зачем я тебе все это рассказал, — признался Антон.

— Да, уж очков ты себе не прибавил, — вздохнула она.

— Очков? А разве мы во что-то играем?

— Играешь ты — на моих нервах. Такую тоску нагнал. Ты мне хочешь свою болезнь, как заразу передать.

— Ну, что ты... — Он насмешливо и примирительно улыбнулся.

— Сколько я времени с тобой потеряла впустую... Тебе что, делать совсем нечего?

Антон как-то сник — выговорился. Новое опустошение привело к слабости. Надо было по возможности все обратить в шутку. «Она расстроена из-за мой глупости», — подумал он. Бледное лицо девочки, потерявшей свою первую сумочку. Вопросительные тонкие брови. Недоуменная складка у губ. На что еще будем дуться?

— Я тебя понимаю, — он подошел к ней, приобнял. — Тебе опора в жизни нужна, а мне всего лишь подставка. — И положил свой подбородок на ее голову.

— Тяжелый какой, — выдохнула она. — Ешь слишком много.

— А для кого же мне еще есть в этой жизни? — отозвался он, не договаривая, окончательно освобождаясь от морока прошлого.

— Ты, я вижу, закончил свою писанину? Тогда сходи в магазин, пока я готовлю, нам надо купить...

Купить надо было много чего... Минувя два близко расположенных магазина, Антон Сергеевич Лепетов отправился в «Ленту», чтобы равномерным шагом (а идти-то было всего одну остановку) привести свои мысли в порядок, отвечающий настроению сегодняшнего дня. Погода соответствовала и даже забегала вперед. Солнце словно заново народилось и уже не помнило о том, что и вчера точно так же светило изо всех сил, и воздух был другой — во всех отношениях. В сиюминутных отблесках, запахах, звуках, обрывках речи, мелькании лиц сквозил какой-то беспечный взгляд целого мира, живущего на манер бабочки-однодневки. Этот взгляд попутно отменял близкую осень с сопутствующей ей грустью и упадком, он попросту отмахивался от нее.

Частная, узкая жизнь стремится к какому-то планированию, упорядочению, пришло вдруг в голову Лепетову, а жизнь общая, широкая и большая, вся состоит из неискоренимого хаоса, только им живет и питается, его же и производит, и только такой и может быть. Если частное — то осмысление, стремление зацепиться за что-то, нащупать твердую почву, если общее — то безграничный и неустойчивый простор, вечное шатание.

Будучи замкнутой частной единицей, он поднялся по движущейся лестнице траволатора на второй этаж части общего — просторного здания, переделанного в торговый центр из бывшего кинотеатра. В таких больших помещениях Антон Лепетов чувствовал себя подавленно. Все эти безмерные коммерческие пространства обмана, где, кажется, не бывает потолков, а вместо них на честном слове держатся стянутые кверху легкие конструкции из обещаний удобной жизни, обезоруживали его своим масштабом и размахом, и в итоге даже удручали.

Он довольно быстро уставал от обилия товара в длинных рядах или высоких стеллажах, беспорядочного движения тележек, еще пустых и загруженных под завязку, вцепившихся в них рук, оживленных, хмурых и равнодушных лиц, вообще движения любого свойства, сводимого к конечной пустоте, в том месте, где хаос, казалось бы, внешне был упорядочен, приводил общее к частному, шел навстречу потребителю с особым, искусственным запахом лежалого товара и надежды на доброе утро с чашечкой кофе.

Он задержался у арбузов с дынями, прикидывая, что ему лучше выбрать, на чем остановиться, или все же взять и того, и другого. Мысль о

совокупном весе, дразнившем его смешением белой и красной сочной мякоти, заштрихованной желтым цветом пыльного броненосного панциря и полосатой, черно-зеленой глянцевой коркой, привела его в оцепенение. Весу в его тележке и так хватало, имея в виду самое необходимое: хлеб, рис, чай, бекон, масло, сыр, сок... ну и так далее. Должно быть, у него был вид человека, у которого развязались шнурки в самый неподходящий момент или с ним случилось еще что похуже. Он это понял по стороннему взгляду, прежде уже бессознательно отмеченному им как знакомому.

Еще одной, другой секунды ему хватило, чтобы окончательно сообразить, что он видит перед собой Кристину, но не в продолжение нелепого сна, а как вполне реальную фигуру, да еще и с выражением некоего укора в ее лице на непредвиденную случайность. И тут же все преобразилось — развеялись оцепенение и настороженность, случайность обернулась едва ли не закономерностью.

Она доброжелательно улыбнулась, он ответил слабым подобием, которое можно было списать на усталость, — все же не ожидал ее здесь увидеть. Слова вышли такие, не совсем ловкие:

— Привет! Ты как здесь оказалась?

— С подругой встретилась, за компанию с ней по магазинам.

Он излишне бодро вступил; таким он никогда не был на самом деле. Они обменялись игривым «ты», чтобы сразу вспомнить друга друга. Она выглядела беспечной, не хозяйственной, на это указывало отсутствие рядом с ней тележки; она просто прогуливалась в милом, сереньком с голубым, платье, брала с полки коробку зефира или пачку печенья, смотрела цену и ставила на место — как бы интересовалась мимоходом. Тележка была у приближавшейся подруги; та вела ее бережно — как коляску с ребенком, только вместо ребенка там спали сосиски, селедка и домашние тапочки. Девушка была черноволосая, такого же примерно возраста, как и Кристина, кругленькая, крепенькая, невысокого роста; по оживленным темным глазам и полуоткрытому рту сразу видно, что бойкая.

— Здравствуй, — сказала она Антону, цепким и доброжелательным взглядом выхватив его обособленную фигуру из торговой суеты. Дальнейшее уже было подготовлено ее неожиданно признательными глазами.

— Вы Антон? — спросила она утвердительно. — Мне о вас Кристина рассказывала. — Ее голос выставлял ему положительную отметку; наверное, он сразу получил какое-то предельно высокое количество зачетных баллов. — А меня зовут Галя, — добавила она так обезоруживающе просто, что впору было ему смутиться за свою закрытость и принципиальную настороженность к незнакомому человеку.

Через несколько дней он узнает, что Галю на самом деле все зовут Галкой, а фамилия ее Обойдина, что она не замужем, детей у нее нет, и вообще Галка Обойдина это такое явление и понятие, которым сложно подобрать определение.

— Да, — ответил он как-то невпопад; ему словно пришлось согласиться с тем, что это он, или все же он непреднамеренно выдавал себя за другого — настолько все выглядело неожиданно. Деваться ему все равно было некуда — они обладали численным превосходством, их было двое. И почти разом они сказали про одно и то же, сначала Кристина, потом Галка.

— Аркадий тебе еще не звонил?

— Да, день рождения ведь у него намечается!

— Нет, — помотал головой Антон.

— Ну, еще позвонит, — уверенно заключила Кристина. — В субботу на даче собираемся.

Они поговорили еще о каких-то пустяках, и Галя, тогда уже Галка Обойдина, тараторила и поддакивала, а потом оставила их одних, вспомнив, что забыла купить какого-то салата и конфет. И тут Кристина вернула Антона в тот первый вечер, когда состоялось их знакомство, словно именно теперь пришло время, чтобы она смогла, наконец, рассказать, откуда знала его раньше.

— Стол для доминошников, липовая аллея, Алексей Иванович с велосипедным насосом...

У нее изменился голос, он стал ниже и доверительнее. Ее лицо посветлело, она даже улыбалась со значением, в котором невозможно было усомниться.

— Ледяная горка, снежки, бульвар Пионеров...

Она говорила о сокровенном, называла приметы детского рая. Она словно играла с ним в угадайку, вводила в транс.

— Мы жили в первом подъезде, а вы в четвертом. Ты не обращал на меня внимания, все же был старше. А я любила смотреть, как ты гулял с собакой... Черно-белая бордер-колли, у нее были такие красивые запоминающиеся глаза... Ты бросал ей палку, и она за ней смешно бежала, чтобы принести обратно... А потом у меня сломался велосипед, я проколола шину, и ты взял у Алексея Ивановича насос...

Он должен был что-то угадать, но что? Ничего не сходилось. Если только разница в возрасте. Но как раз благодаря именно ей ничего не могло быть, никаких воспоминаний... Ну, хорошо, он жил в том же районе, но на другой улице и, конечно же, в другое время. Это не он. К тому же он не помнит никакого Алексея Ивановича, велосипедного насоса никогда в руки не брал, собак терпеть не может, не говоря уже о том, чтобы иметь какую-то там колли — хоть с красивыми, хоть с некрасивыми глазами. Как она могла его узнать спустя годы, вернее, не его, а кого-то другого? Значит, и фамилия та же? Алексей Иванович... Какой Алексей Иванович?

Она называла ему длинный пароль, а он никак не мог вспомнить свой короткий отзыв. По какой-то странной слабости Антон ничего не мог опровергнуть — ему оставалось только соглашаться, не прерывая ее. Она была так убедительна, что он видел себя со спины, присевшего на корточки у прислоненного к штaketнику велосипеда, конечно же, с насосом от Алексея Ивановича в руках, а дома его ждала любимая и преданная собака. Ничего этого он не знал, плохо ориентируясь в чужих воспоминаниях, но разочаровывать Кристину он не осмелился, подавленный ее светлой уверенностью. Наконец, проглотив комок в горле, он все же выдал свое признание:

— Да, вспомнил.

И сразу стал другим человеком, пытающимся осознать свое значение.

— Вы потом переехали, и на этом все закончилось.

Да нет, она не права, все только начинается. Он ответил ей, совпал с ее представлением. Теперь ему деваться некуда, только попробуй откажись. Ему придется соответствовать. Подыгрывать. Не зная сути дела, как-то приноравливаться. Вяло соглашаться с чужим прошлым, чтобы не допустить явных ошибок. Или отнекиваться с той же целью, ссылаясь на забывчивость.

От дальнейших воспоминаний и опасного углубления в не принадле-

Жакко Лепетову пространство (все легко могло завести в тупик) его спасло появление Галки Обойдиной.

— Ну вот, наконец-то, взяла, что хотела. Можем идти дальше.

Она простодушно посмотрела на Кристину и улыбнулась. Имелось в виду, что двум подругам есть еще, чем заняться. Антон же с некоторой неловкостью развел руками, добавив со вздохом облегчения что-то вроде «а я еще задержусь» и толкнув при этом коленом свою тележку. Расстались в ожидании близкой и обязательной встречи на упомянутом дне рождения. Антон отметил в лице Кристины облегчение другого рода — от того, что она узнала в нем того самого человека, которого и ожидала. А он, признанный, согласившийся, втянутый в новую роль, подумал о том, что его-то Аркадий Зулусов на свой день рождения пока что не пригласил, так что не стоит забегать вперед.

С этими мыслями он добрался до своего дома, в подъезде которого его ожидал неприятный сюрприз, уже случавшийся и прежде, так что в строгом смысле слова его нельзя было назвать сюрпризом, однако наткнуться на площадке с почтовыми ящиками между вторым и третьими этажами на лежащего ничком у стены Геннадия Семеновича, мужа соседки Риты, было все равно неожиданно.

Не стоило выискивать какую-либо периодичность в подобном положении, в котором раз или два, а то и три в самый неудачный год оказывался мастер одного из еще работающих заводов Геннадий Семенович Карпухин. Календарные даты на это никоим образом не влияли: день праздничный, рабочий или просто выходной — установить хотя бы приблизительную закономерность не представлялось никакой возможности. Как и привыкнуть к выбранному Геннадием Семеновичем времени суток: это могло случиться и в середине дня, и вечером, и ночью, спасибо, что не утром.

Положение его было неприлично и нелепо, а причина оказывалась самой безобразной: он был просто банально пьян — до самого низшего, уже запредельного и заповедного состояния.

Обычно он выглядел мертвым, то есть не мертвецки пьяным, а именно мертвым, наконец-то дошедшим в своем диком состоянии до печального логического конца. Те, кто знали Геннадия Семеновича, были предупреждены и соответственно реагировали (а значит, никак), но случались и казусы с самыми непредвиденными последствиями.

Так однажды в подъезд вошла девушка, чья-то внучка какой-то приболевшей бабушки, с которой она давно не виделась. Прежде чем подняться наверх, эта самая девушка, примерно студентка первого или второго курса, заглянула на площадку между этажами, чтобы проверить почтовый ящик бабушкиной квартиры, и едва не наступила на лежавший на кафельном полу труп. Она сама в ту же секунду словно помертвела и открыла рот в надежде на добавочное дыхание, так как ее собственное непоправимо пресеклось. Четыре часа дня, суббота, сквозь пыльное оконце, расположенное выше уровня терпеливого отношения к жизни, выходящее во двор и забранное решеткой, видно солнце. И никого больше рядом, ни звука. Что ей еще подумать?

В лучшем случае это могло походить на бытовую трагедию — вроде как отравление угарным газом. Так ей почему-то вдруг подумалось или хотелось подумать. И все же без вариантов — самое худшее. Рядом с телом валялось раздавленное печенье; выпавший из разорванного пакета к голове творог был похож на мозги. Как бы там ни было, а дело серьезное,

решила она. Шел домой из магазина, ударили чем-то тяжелым по голове... Не по сегодняшней жизни неравнодушная, девушка на всякий случай спросила: «Мужчина, вы живы?» И тут произошло чудо: труп мгновенно ожил, как будто ему над ухом громко щелкнули пальцами и тем самым вызвали из небытия к жизни. Он встал, как ни в чем не бывало, и заторопился вверх по лестнице. С девушкой же произошло другое чудо: ничего совершенно не поняв, она, тем не менее, осталась при своем уме и рассудке...

Нынешний экземпляр Геннадия Семеновича, преграждавший путь Антону Сергеевичу Лепетову, менее всего походил на труп, потому как хралел или, если быть точным, с некоторой ноткой тревоги похрапывал. Испытывая привычное чувство брезгливости, Лепетов уже хотел было просто перешагнуть это препятствие, как Геннадий Семенович вдруг ухватился за его брючину и пьяно выговорил, поворачивая голову и начиная моргать:

— Помоги.

«Вот еще история», — поморщился Лепетов и с плохо скрываемой иронией громко спросил, как безнадежно больного и глухого:

— Чем помочь-то?

И дернул ногой при этом, чтобы освободиться от пьяного захвата, но, впрочем, безуспешно: рабочая рука Геннадия Семеновича была крепкой, натягивая брючину на манер спасительной нити.

— Помоги, — повторил все тот же пьяный голос, но уже словно из подземелья.

Вера, жена Лепетова, общалась с Ритой. По ее словам, это он из-за Риты пил. Та ему уже давно изменяла; был у нее какой-то постоянный кавалер, которого она зацепила на работе. Тогда же (давно когда-то) Геннадий Семенович, и так любивший шумные застолья, начал попить — теперь уже по-другому, не радостному поводу, и в одиночку; и вот во что это вылилось. Главное же, что несмотря ни на что, они продолжают жить вместе. Ни он с ней расставаться не хочет (а куда ему идти, если квартира ей принадлежит?), ни она с ним, как это ни странно. Впрочем, Антон Сергеевич Лепетов никогда особо не интересовался ни самой Ритой, ни ее страдающим мужем. Любовь ли это у них такая, страсти, чувства, еще что, — как-то они ему были далеки...

— Да чем же я тебе помогу? — в некотором раздражении высказался он. — Ты сам себе помоги, а больше тебе никто не поможет.

— Подними, — отозвался лежащий; в голосе одновременно и просьба, и команда.

«Ну да, подними». Делать нечего, придется. Антон вздохнул и, переложив пакет с продуктами из правой руки в левую, наклонился, чтобы вытянуть безутешного Геннадия Семеновича из социального дна.

— А ну-ка отними, — сказал он и снова дернул ногой. — Давай... Ну? Руку-то давай...

Получилось сразу и как-то на удивление легко. Но едва Геннадий Семенович выпрямился во весь рост для обозрения нанесенного ему ущерба, как Антон ахнул:

— Да что это с тобой?

Вопрос, впрочем, был глупый. Несколько стертое выпитым лицо, один рукав пиджака в мелу, весь вид помятый, взъерошенный какой-то, копна волос, словно вспаханная непослушной пятерней, на два года всего-то старше Лепетова... Ростом он был ровно с бутылку водки, но не на-

турально, конечно, а в духовном смысле. И это еще ничего — раньше его вообще Чекушкой звали, а теперь все же Геннадием Семеновичем. Больше выпивать стал — значит, как бы вырос, и расти ему дальше уже было некуда.

Изрядно пьяненький и безобидный Геннадий Семенович видеть себя не мог, а подвести его к зеркалу, чтобы ткнуть в него мордой, мол, смотри, пьяная харя, на кого похож, в подъезде не представлялось возможным. Однако Геннадий Семенович что-то уже как бы сообразил про себя и, возможно, даже вспомнил, потому что вдруг хлопнул себя по лбу не той рукой, за которую его вытянули к разумной жизни, а другой, красной, как можно было сообразить, от его же крови, оставляя на лбу устрашающий след:

— Ой, дурак я, дурак!

И даже закачался на месте, чтобы продолжить свои пьяные причитания, демонстрируя пятна крови и на рубашке, и на пиджаке, и резкой бороздой на щеке.

— Ой, дурак я, дурак...

Случай для Антона Лепетова был новый. Окровавленный образ Геннадия Семеновича никогда прежде в подъезде не являлся. «Вот ведь идиот, попал куда-то...» Пора было с ним расставаться.

— Ну, все, что ли?

— А ключи? Где ключи? — вдруг сорвался с орбиты причитаний озбоченный голос Геннадия Семеновича, и руки по карманам захлопали, пальцами врастопырку.

— Нашел? — покривился Антон; ему это представление уже порядком надоело.

— Помоги дверь в квартиру открыть, а? — Геннадий Семенович смотрел на него мокрыми, невидящими глазами и протягивал ключ; сама Чекушка почти слезно умоляла: — У меня руки трясутся.

Металлический ключ опасно отблескивал красным, длинный стержень с бороздками на конце тяжело провисал топориком.

— А я тебе еще пригожусь, — неожиданно добавил он.

— Да чем ты мне пригодишься? — раздраженно спросил Антон. — «Что за чушь он несет?» — замешкавшись перед ключом, желая от него отстраниться.

— Еще пригожусь — вот увидишь, — наладился обещать Геннадий Семенович, и тут в кармане брюк у Антона Лепетова бойкими молоточками застучал мобильный телефон: это позвонил Аркадий Зулусов.

Глава четвертая

НА ЕМАНЧЕ

Ехали, наверное, минут сорок, не больше, сначала по Курской трассе, потом свернули налево, чтобы дальше, уже большую часть пути, следовать до приметного места с чередой деревьев, отступавших в линию от дороги, где надо свернуть направо, — Вере и вовсе показалось, что полчаса. В прекрасную солнечную погоду, с видимыми признаками подступившей осени, разом обнаружившей свое превосходство. В воздухе было словно разлито некое сожаление об ушедших летних днях, о каких-то так и не завершенных делах, вечных благих намерениях, и вместе с тем ожидание перемен, острое чувство возраста, самого уже спелого его состоя-

ния, годного как на дремотное оцепенение, так и на внезапные сумасбродства. Все это отразилось и промелькнуло сквозь оторвавшуюся от сухого листа паутинку, прощально блеснувшую на солнце. Антон проводил ее взглядом и шагнул к подъехавшей «газели», о которой накануне предупредил по телефону Зулусов. Специально присланный им водитель собирал по городу гостей для дня рождения, — оставалось забрать только Лепетовых.

Из сидевших внутри микроавтобуса, так и не ставшего маршруткой, Антон с Верой знали только Другановых. Последние и сидели ближе к ним, а значит, и к выходу, так что общение было неизбежно. Выслушивать анекдоты от Максима Друганова или еще какие-нибудь как бы забавные истории из жизни, бесконечным колесом прокатывающиеся по здравому смыслу, Антону не очень-то хотелось, но сначала выручила Вера, сразу же нашедшая общий язык со Светой, как это обычно и случается у женщин, а потом и вовсе оказалось, что ему нет нужды опасаться пустой болтовни подмененного модельера, — Друганов, полуобернувшись назад, продолжил было прерванный появлением Лепетовых разговор с коротко стриженным парнем с отрешенным лицом, а сам Антон, никем не потревоженный, мог спокойно уставиться в окно, чтобы скоротать время за разглядыванием мелькавших за стеклом пейзажей. Однако в силу какой-то неясной причины, взгляд его не растворялся среди картин природы, состоявших то из уже почерневших голых полей, то из деревьев, красивая листва которых дышала прохладным осенним жаром, а упирался в добродушно-туповатое и обиженное на себя лицо Геннадия Семеновича, все повторяющего расстроено: «Ох, и дурак же я, ох, и дурак!»

Вот словно надо было Антону оправдываться в чем-то и перед ним, и перед Верой, имея в виду, что она является какой-никакой подругой Рите, и, стало быть, возможны неприятные и недостоверные разговоры об этом случае, и главным виновником тут непременно окажется сам Антон — именно потому, что наткнулся в плохую минуту на пьяного мужа Риты и через это стал свидетелем ее унижения. «Вот и помогай таким барбосам», — думал Антон, вспоминая, как чудом управился с непослушной дверью квартиры Карпухиных, одной рукой пытаясь совладать с заковыристым ключом, а другой — удерживая Геннадия Семеновича от еще одного падения; как заводил его в коридор, протискивал в комнату, помогал раздеться и оставлял в одних только трусах поверх застеленной кровати — уже как лишившееся сознания, впавшее в беспробудный сон, тело. «И Вере не надо было об этом рассказывать, — решил он. — Когда же научусь молчать?» Вера уже как-то раз было заикнулась Рите о постоянных падениях ее мужа в подъезде, происходящих именно в то время, когда она отсутствует дома, но та только удивленно округляла глаза и даже обижалась: «Какую ерунду ты мне говоришь! Не может этого быть!» Она просто ничего слышать об этом не хочет. При всех своих любовниках, или одним только, она, тем не менее, не могла допустить, чтобы смеялись над ее мужем или хотя даже сочувствовали ей. Какое, к черту, сочувствие?! Это я вам всем посочувствую!

Внешне все должно было выглядеть нормально. Семья — это главное. Это у других могло быть плохо, неважно, еще бог знает как, но только не у нее. И так выходило, что Вера оказывалась в двойственном положении: с одной стороны она знала правду о муже Риты, валявшемся в пьяном виде между этажами, а с другой, поддерживая отношения со своей подругой, она должна была делать вид, что ничего этого, в действительности нет.

«Что их связывает? — в который уже раз недоумевал Антон. — Всего лишь соседство? Такая малость?» И тут же вспоминал: «Ах, да, они вместе учились в школе...» И не соглашался: «Ну и что?»

Создавалось впечатление, что Рита словно стремилась каким-то образом соответствовать Лепетовым: то ли чувствовала себя в чем-то обиденной, то ли завидовала... Но чему?

Она еще и не так чудила: Вера с улыбкой рассказывала Антону, как ее подруга с нескрываемой гордостью поведала о том, что ее принимают (мужчины, конечно) за студентку; так и спрашивают у нее при знакомстве: «Вы на каком курсе учитесь?»

Даже Вере неловко было выслушивать такие откровения от Риты: дело идет к сорока, а она вдруг вообразила, что сойдет за студентку! Однако, удивившись подобной наглости, принимала поощрительный вид и изображала понимание тех неизвестных мужчин, так выгодно оценивших возраст подруги. Антону же оставалось только кривиться от этих рассказов. «Нет-нет, — думал он, заканчивая с Геннадием Семеновичем. — Это как раз тот самый случай, когда надо проходить мимо».

Он снова оглянулся и увидел, как его Вера с непонятым воодушевлением в лице что-то втолковывает притихшей Свете. Как раз в эту минуту их микроавтобус сбавил скорость и повернул направо. Довольно скоро, петляя, дорога устремилась вниз мимо дачных участков и строений. Спуск закончился привольным видом на долину с лугом, купами деревьев вдалеке, угадываемой по камышам речушкой поблизости. «Газель» медленно, проваливаясь на ухабах, двинулась вдоль подножия холмов, которые, насколько хватало взгляда, были все усеяны дачными домами. Могло показаться, что микроавтобус пробирается куда-то по краю dna огромного оврага. И вдруг остановились, потом проехали немного вверх по склону вдоль металлического забора, густо выкрашенного в темно-зеленый цвет, и оказались у цели. У калитки — еще одна машина, белая «ауди», у которой стояли сам виновник торжества и еще кто-то в темных очках. За забором отрывисто и тяжело дубасила музыка, сражаясь с собственным эхом.

— А мы уже вас заждались, — расслабленным голосом, в котором угадывалась изрядная доля принятого алкоголя, произнес Зулусов. На нем была голубая с белым футболка, а еще синие спортивные трусы, внушительные черные кроссовки на ногах. Словно отлучился на минутку с теннисного корта. Ракеткой мог бы прикрыть свой выдававшийся вперед живот, расслабленный по обстоятельствам, но ракетки в руках у него не было.

— Да ладно тебе, все вовремя, — отозвался Максим Друганов, шагая к Зулусову с очередной бутылкой в руке, на этот раз коньяка. — Уже родился?

— Утром, — сказал Зулусов.

— Роды прошли успешно, — улыбаясь, подтвердила Галка Обойдина. — Кристина спрашивает, куда это ставить? — Она вышла из калитки с большим блюдом, заполненным виноградом и сливами; солнце играло в них бликами, откликалось в пожелтевшей листве близких кустов и деревьев, пряталось в сохранившейся зелени, усиливая терпкий аромат осени, одновременно сухой и влажный, согласно покорный и оживленно печальный.

— Галка! — внушительно, со значением произнес Зулусов и игриво приобнял ее. — Ставьте, куда хотите. — Невпопад нахмурился, пожевал

губами, вздохнул и повел рукой, приглашая всех: — Ну, пошли, что ли? — Был похож в эту минуту на подвыпившего экскурсовода, внезапно вспомнившего, что ему еще надо показать группе туристов какие-то культурные развалины.

Вокруг по склонам холмов ютились дачи и дачки в разной степени изношенности и сохранности, а тут стоял полновесный загородный дом, новый, внушающий несомненное уважение к его хозяину. Серые оштукатуренные, с зернистыми проблесками кварцевой крошки стены ровным образом складывались в двухэтажный дом с мансардой и террасой, с двухскатной крышей из черепицы вишневого цвета, с разными вспомогательными строениями из ладного красного кирпича, словно отмытого до неправдоподобной глянцевой поверхности, напоминающей пластмассовые детали из дорогого детского конструктора. Но тут было видно, что не ребенок над всем этим поработал, а архитектор, пытавшийся в сумятице мыслей заказчика совместить некое подобие швейцарского шале, калифорнийского дома из голливудского кино и милой сердцу уютной английской крепостной старины с запросами оборотистого «нового русского», выросшего из простенькой родительской дачи, когда-то слышней признаком достатка советского человека.

Посередине участка, которому, конечно же, подходило какое-то другое, более обширное определение, стоял навес с притулившимся к нему каминном, тут же громоздились дрова. Территория была размечена дорожками, вымощенными плиткой, прохладной строгости которой соответствовали столбы с фонарями под старину. То тут, то там выглядывали яркие осенние цветы. Газон покрывала не менее красивая, невероятно зеленая трава. У стены тихо росли ягодные кусты и плодовые деревья. По декоративным решеткам необходимой деталью умиротворенного и благоприятного сельского вида вился хмель. Где-то там мелькала спина представленного к делу человека — в рабочих рукавицах, с ножницами. «Садовник», — подумал Антон и, конечно же, не ошибся. Всем этим надо было восхищаться, и Антон восхитился.

— Это прямо усадьба у тебя какая-то, имение!

— Да-да, — с готовностью присоединилась к нему Вера.

В этих сбивчивых словах открывалось многое: действительное смущение, показная ирония, неожиданное замешательство, признание своего городского жилища за кладовку.

— Ну, так вот получилось, — с расслабленной приятностью в голосе и во всем облике отозвался Зулусов, еще и разводя руками: я тут, мол, совсем ни при чем, все как-то совершенно случайно вышло.

Из-за декоративных решеток показался садовник, бодрый и загорелый мужчина пенсионного возраста; он приблизился к Зулусову и сообщил ему:

— Аркадий Павлович, я все сделал, так что...

— Ну да, можете быть свободны.

На какую-то секунду, когда садовник еще только шел к ним, Антону вдруг показалось, что это отец Зулусова, — настолько он был похож на него издали. Правда, Антон и видел-то его в последний раз в школе, наверное, на выпускном вечере; но вот неожиданно вошло в голову, так что даже неловко ему стало от возможной встречи. «Вот еще, — одернул себя Антон, сбрасывая наваждение, и тут жена его за руку тронула, чтобы напомнить о другом, о главном.

«Ах, да, подарок», — сообразил он, принимая из ее рук для переда-

чи Зулусову завернутую в глянецкую бумагу с веселыми цветочками, солидный том большого формата. Что дарить «такому человеку», как Зулусов, было совершенно непонятно. То есть понятно было, что он ни в чем не нуждался, и, в принципе, все у него есть. Но что-то ведь все равно надо было ему подарить, даже если не задаваться целью сделать приятное в виде неожиданного сюрприза. Настоящих привычек его и предпочтений Антон не знал, школьные интересы естественным образом отметались, и как бы ничего не оставалось на виду, за что можно было бы зацепиться. Все же столько лет не видется, — поди угадай! Выручить только могло бы известное прошлое, которое можно как-то обыграть через выбранный предмет. И такой предмет нашелся.

Антон сразу условился с Верой, что это будет какая-нибудь книга по искусству, альбом с репродукциями картин. Он даже хотел предложить для подарка живопись Эль Греко, но как только он сказал об этом Вере, так сразу и сам понял, откуда у него взялась идея альбома с репродукциями. Довольно скоро этот вариант был признан непригодным: понятное дело, что возникали чересчур явные ассоциации, которые могли бы не понравиться Зулусову. А не то еще и обида какая-то возникнет. Могли бы они твердо рассчитывать на чувство юмора Зулусова в данной ситуации? Нет, конечно. Соблазн был большой — убить, как говорится, сразу двух Эль Греко. Остановились, однако, на фолианте под исчерпывающим названием «500 шедевров». На этом можно было и расслабиться.

Зулусов взялся за альбом, еще не зная, что это альбом, потому что ему ничего не сказали о содержимом, а принимая за шедевр уже самую оборточную бумагу для подарков, — оценивая его по весу покачиванием рук, услышав запоздалое и неловкое вдогонку от Антона: «Поздравляем!», тут же ответив: «Спасибо», и, уловив какой-то знак со стороны, буднично сказал: «Нас ждут к столу». Вот так изящно просто люди с положением и достатком принимают подарки.

Несколько растерявшись, Антон и Вера двинулись по дорожке вслед за Зулусовым, который вдруг остановился, так что они едва не наткнулись на него. Зулусов обернулся и, обводя свои владения уверенным хозяйским жестом, продолжил то недоговоренное, что жило в его душе:

— А воздух тут какой, а? Его же пить можно!

Собравшаяся за столом компания уже начинала томиться в ожидании. Было хорошо видно, что не все знают друг друга, и возраст гостей значительно разнится. Был тут и коротко стриженный парень, замеченный Антоном в микроавтобусе, сидевший все с тем же отрешенным лицом. К его нездешности странным образом прилаживалась девушка с тонкими губами, несколько выдающимся носом и бегаящими по сторонам глазами; ее взгляд заинтересованно округлялся на всякое случавшееся движение, распущенные светлые волосы рассыпались по плечам. Девушка была, очевидно, очень продвинутой в своем пестром сарафане с оборками, в котором сразу же как бы высвечивались этнические мотивы.

Парня звали Игорем Истоминым, его девушку — Аллой Альховской. Причем она, когда Зулусов их знакомил с Антоном, зачем-то уточнила написание своей фамилии: «Через «а» пишется, Альховская, не Ольховская. А то многие путают», — как будто Антон Сергеевич, оказавшись ответственным чиновником, должен был тут же заполнить какой-то формуляр или вписать ее фамилию на «а» в графу регистрационной анкеты. Впрочем, некие анкетные соображения все же держались в ее голове, потому как Зулусов успел шепнуть Лепетову с изрядной иронией в голо-

се: «Мечтает выйти замуж за финна и уехать в Финляндию». «Почему?» и «как?» — удивляться Антону Сергеевичу, застрявшему над заполнением официального бланка, как бы и не к чему совсем, однако поневоле возникал другой вопрос: в какой тогда степени Игорь Истомин, если только отдаленно напоминающий финна, считался ее парнем?

Над этими чужими и пустыми вопросами Антону Лепетову долго размышлять не пришлось: из-за внушительного камина, спиной к нему, выходил мужчина в светлом костюме и с изрядной лысиной на голове. Роста он был едва ли не ниже среднего, а потому костюм на нем сидел несколько мешковато. Лепетов что-то знакомое уловил в этой нескладной и в то же время округлой фигуре, похожей на новенький футбольный мяч, выделяющейся на остальном фоне деловой и даже строгой обязательностью, не допускающей дачной расслабленности, с угадываемым галстуком на шее, — и он не ошибся. И галстук имелся, и лицо оказалось более чем знакомым, когда футбольный мяч едва не сбил с ног псевдочиновника, — пятиться дальше было некуда.

«Ой!» — от неожиданности произнесли оба, и тут Лепетов признал Павла Алексеевича Приставкина, директора не своего театра, а другого, которого он не видел лет пять, если не больше. Они даже поздороваться друг с другом не успели, как между ними встрял Зулусов, только сейчас обнаруживший среди гостей Приставкина.

— Да ты лысый совсем! — воскликнул он, давая понять, что тоже давно не виделся с Приставкиным.

— В моем возрасте иметь волосы уже неприлично, — великодушно обронил Павел Алексеевич. — Подумают, что и не жил совсем.

Он оглянулся на свою жену Ирину, которая как раз и заставляла его пятиться таким странным образом. Оказалось, что это они воссоздавали какую-то уморительную сценку, случившуюся прямо на их глазах во время недавнего отдыха в Турции, но понять, что же там такого смешного произошло, из сбивчивого рассказа супругов Приставкиных было решительно невозможно, при том что Павел Алексеевич выставлял из себя искусственного рассказчика анекдотов и пытался описать невероятно забавную ситуацию с таким энтузиазмом, что сам же срывался и начинал раскатысто хохотать в безудержную лесенку, оборачиваясь самым обыкновенным Пашей Приставкиным, каким его и знавали прежде Зулусов с Лепетовым.

Чета Приставкиных представляла собой людей, довольных жизнью по любому случаю и при любых обстоятельствах. Выражения их лиц всегда были настроены на волну позитива с таким заранее подготовленным воодушевлением, что иной раз становилось не по себе, глядя на них. Такие лица можно выхватить среди зрителей на каком-нибудь юмористическом телеконцерте, щедро заправленном пошлостью. Они изображают невероятно дешевый восторг от доступного зрелища, полезный для здоровья уже не какими-то хилыми минутами смеха, продлевающими жизнь, а часами, днями, месяцами и годами.

Антону бросилось в глаза, что жена Паши Ирина настойчиво продолжала одеваться по моде давно минувших лет; располнев, она словно осталась в них, не желая расставаться с выгодными воспоминаниями, и потому Антону казалось, что он видит перед собой забытый силуэт с обложки журнала *Rigas Modes*, украшенный выдающимися подплечниками. Открытию, сделанному им, не суждено было развиваться в нечто большее, так как ход его мыслей был прерван Зулусовым.

— Подождите, я еще не всех познакомил, — объявил он и обратился к Антону с Верой, придвигая к ним еще одну пару своих гостей. — Вот совершенно замечательный человек, Егор Коновалов, популярный диджей, работает на радиостанции, у него своя программа, поклонницы...

Парень с серьезным, тяжелым лицом, которого подобным образом представлял Зулусов, слегка поморщился, как бы давая понять, что не надо так уж распинаться, — он и без поддерживающих элементов убежден в собственном величии.

— Настоящий знаток музыки, — весомо подытожил Зулусов и продолжил тут же об Антоне Лепетове, как бы объединяя их в некую команду, — а это подлинный знаток кино.

После этих слов Егор Коновалов несколько напрягся, даже немного отпрянув лицом назад, тем не менее задержав рукопожатие с Антоном. Весь его вид словно говорил: ну, это уж дудки, знаток здесь может быть только один, двум знатокам в одной упряжке не бежать, в одной лодке не плыть, и что такое кино против музыки?

Антон никогда специально не слушал FM-радиостанций, вообще ничего не знал об этом мире. Все его познания ограничивались временем нахождения в салоне маршрутки, когда к общему, достаточно шумному фону, примешивались еще какие-то бойкие, неразборчивые музыкальные звуки и такая же возня возбужденных голосов. Никаких пустопорожних болтунов, засоряющих радиоэфир, он не знал, а потому затронуть его хоть в каком смысле нельзя было ничем. Зулусову оставалось только перейти к спутнице великого диджея, которую звали Оля Беседина. Она сама же о себе все и рассказала.

— А я слушаю музыку и кино еще смотрю.

И улыбнулась, как человек, позволяющий относиться к себе несерьезно, потому что и сама так относится ко всему на свете.

Когда все предварительные церемонии наконец-то закончились, можно было собственноручно обратиться к столу, на котором главенствующее положение занимали свиные рульки, салат «Шапка Мономаха» и водка на бруньках.

— Тут, я смотрю, еще и капуста от всей души, — игриво заметил Антону Приставкин.

— Водки? — предложил Антон.

— Ага, а потом под капельницу на тех же бруньках, — сказал Приставкин и спросил через стол у Зулусова: — Аркадий Павлович, а винцо какое-нибудь самое простецкое имеется?

Вера вполголоса разговаривала о чем-то с женой Приставкина Ириной, а сам Паша наклонился к Антону:

— В театр мысли вернуться нет?

— Ты просто так интересуешься или это предложение?

— А все сразу, на всякий случай.

Приставкин взялся за бутылку вина, принесенную Зулусовым, и стал изучать этикетку; губы у него удовлетворенно вытянулись: вот, мол, даже как у нас...

— Наверное, нет.

— Так все хорошо? — Приставкин оторвался от бутылки и, не выходя из игривого тона, заглянул в лицо Антону. — И не тянет обратно? И возможна жизнь без театра?

— Ну, вот живет же человек, — кивнул Антон в сторону Зулусова. — Да еще как живет!

— Да-да-да, — подтвердила вступившая в разговор Вера. — Нам так не жить никогда.

— Ага, вот в чем дело, — зашевелился Приставкин. — Так это ты Антона у театра украла?

— Зачем я буду красть? — пожалала плечами Вера. — Он дома прекрасно исполняет свою роль, потому что не играть он все равно не может. Я его единственный и верный зритель. Зачем ему театр?

«Куда это ее понесло? — удивленно подумал Антон. — Не было ведь никакой причины, и вроде бы еще не пили...» Как раз Галка Обойдина спохватилась по этому поводу, решив взять управление застольем в свои руки; она и без этого была очень инициативной.

— Ну, это что мы вот сейчас — просто будем пить и есть, и все на этом? А где тосты? — решительно спросила она, оглядываясь на Зулусова в надежде на поддержку. — Где поздравления?

— Да, конечно, — словно бы очнулся Зулусов, становясь заинтересованным лицом, почему-то выпавшим на время из поля зрения. Придав своему голосу хозяйскую строгость, он спросил: — Действительно, где же тосты?

— Аркадий, ну неужели ты подумал, что мы просто банально напьемся? — выступая от всех гостей, заявила Ирина Приставкина. — Каждый из нас найдет самые искренние и необходимые слова, чтобы поздравить тебя в этот день.

«Настоящая прима, — подумал Антон. — Недаром все первые роли в театре ее мужа принадлежат ей. Она бы и сама театр запросто возглавила».

Она еще что-то говорила, виртуозно перебирая словами, продолжая вот это вот «неужели ты подумал» (но тут Антон еще раз подумал, что все это напоминает ему сцену из какого-то спектакля, вот только он забыл, какого), и силуэт из Rigas Modes обрел зримые очертания: черную челку на лбу, узкие глаза, выразительный подбородок, ярко-красные губы, и вот она уже перешла непосредственно к самому тосту, первой подняв рюмку. Ее почин поддержали. По очереди заговорили о настоящем друге, необыкновенном человеке, друге, который выручал в трудную минуту, человеке с заразительным чувством юмора и интересным отношением к жизни... Про друга говорили бывалые ровесники, про человека — новые знакомые, лет на десять и больше моложе. Хозяин торжества благосклонно внимал всем речам и только единственный раз выразил свое несогласие, когда Максим Друганов сказал: «Конечно, раньше и небо было голубее, и трава зеленее».

— Какое там... Трава сейчас зеленее, вон у меня, канадская, «грин», мы такой и не видели никогда. И небо голубее стало, заводы-то больше так не дымят...

Антон тоже вспомнил что-то светлое про школьные годы, но на этом и запнулся, совершенно не зная Зулусова в настоящем. Его выручило настроение большинства, склонное к рассеиванию внимания от избытка повторяющихся слов. Уже завелись разные разговоры, далекие от обязательной части, громче зазвучала танцевальная музыка, и у Антона, к его собственному удовлетворению, получилось благополучно скомкать свои детские впечатления, до которых никому не было дела. К тому же его тянула за локоть Вера, спешившая поделиться новостями от Иры Приставкиной.

— Сидели за одной партой, собирали марки... Как это все нудно! Кому это интересно? Ты живешь прошлым.

— Слушай, — попытался сопротивляться Антон. — Я рассказывал о том, что нас связывало.

— А-а, ладно. — Она махнула рукой. — Я тебе поинтереснее вещь расскажу, из сегодняшней жизни, а не про времена царя Гороха... Вот теперь ты послушай историю про то, как твой друг Зулусов познакомился с Кристиной.

— Конечно же, Ира Приставкина знает все.

— Разумеется. Она знает то, что нужно. Это история прямо-таки романтическая.

— Не сомневаюсь. Я помню клип с Лизой Эль Греко.

— Ну-ну. Тут ведь совсем другое дело. Тут жизнь и чувства.

Антон протяжно вздохнул.

— Ну, что заерзал? Тебя что-то смущает?

— Эта вот преамбула, вдохновленная актерским талантом Иры Приставкиной.

— Хорошо. Они познакомились в магазине.

— Да ты что?!

— Не надо так пучить глаза. Я вообще вижу, тебя эта тема как-то напугает.

— Какая тема?

— То, что касается Зулусова и его жены Кристины.

— Ну, ты и придумала. С какой стати?

— Ладно. Как-то он оказался в магазине, чтобы купить себе одеколон, а она работала в отделе парфюмерии. Тут-то и произошла эта судьбоносная встреча. Она ему настолько понравилась, что он не удержался и сказал: «У вас такая очаровательная улыбка, что просто хочется забрать ее с собой». Угадай, что было дальше...

— погоди, сейчас попробую... Неужели забрал?

— Я понимаю твою иронию. Зачем мне вообще тебе что-то рассказывать?

Прозвучало это хотя и вынужденно, но цели своей достигло, причем с обеих сторон. Непосредственность Веры случайно выдавала все секреты Антона, а ему не хотелось жонглировать словами на тему Аркадия и Кристины. Ему хватало одного Аркадия. Теперь он смотрел на Кристину заинтересованным взглядом, пытаясь поладить в своей голове с девочкой на велосипеде, прикатившей из чужого детства. Вот она шла по дорожке, держа в руках очередное блюдо к столу. Блюдо было слишком обильным и серьезным для ее загорелых коленок; худые руки, плечи — все было пригнуто к обязательной церемонии, не соответствовало ей. Наклонялась к уже принявшему багровый оттенок лицу Аркадия, сидевшему во главе стола, и что-то говорила ему на ухо, поправляя спадавшие волосы, становясь странно незащитной, пытаясь вклиниться в беспощадную музыку, которая лупила по окрестностям, утверждая свою власть. Он морщился, обретаясь в подуставшем господстве, потом кивал в некоем рассеянном повелении. Она уходила в дом, шла к декоративным решеткам, выплескивала воду из таза, скрывалась за поленницей дров, возвращалась...

— Ты не чувствуешь, что тебе пора? — спросила вдруг Вера.

— Что? — очнулся Антон.

— Пора поговорить с Аркадием о деньгах, о том, куда их можно устроить. Ты что, забыл?

— Да нет, не забыл. Разве забудешь такое...

— Ну, хватит, ведь он же твой друг.

— Да, быть другим — это серьезное испытание, не всякому под силу.

Сложнее только быть другом друга.

— Ты просто невыносим. Если ты сегодня не поговоришь с ним, я не знаю, что тогда... Ну, когда еще такой случай представится?

— Ты считаешь, что самое то?

— Ну, а разве нет?

Настойчивость Веры начинала его доставать; он уже хотел было сказать ей в ответ что-нибудь едкое и обидное, как вдруг музыка смолкла, и замешкавшуюся разноголосицу накрыл могучий призыв Аркадия:

— Господа, прошу минутку внимания!

Он встал, воздвигая свое непослушное и как бы лишнее в эту минуту тело над столом; голова словно колыхалась отдельно, одна рука взялась за вилку, чтобы постучать по пустому бокалу, призывая к тишине, другая подняла рюмку, до краев запроваленную бруньками. Наконец голова успокоилась, найдя более-менее верное положение, и открыла рот:

— Я всего лишь несколько слов... Поблагодарить от себя всех, кто пришел ко мне сегодня...

Аркадий взял паузу, позволяя телу соединиться с головой и окрепнуть, потом продолжил:

— Мы все здесь собрались не случайно. Я хочу это подчеркнуть, я думал об этом... Это правда, случайностей не бывает. Каждый из нас чего-то достиг в этой жизни... в своей области, в том, чем он занимается. И это не зависит от возраста. Дело совершенно не в этом...

Антон наклонился к Вере и прошептал: «Когда это он успел так набраться? И чего, интересно, достигла Галка Обойдина или так называемая Алла Альховская?» Вера парировала мгновенно: «А ты?»

— Всех нас объединяет то, что достигли чего-то, — продолжал гнуть свое Аркадий, так что уже становилось понятно, что говорит он, сосредоточившись на себе, — не благодаря чему-то, а вопреки... И это главное во всем этом — вопреки. И живем мы не благодаря, а вопреки. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я... И в общем, я хочу поблагодарить всех. А теперь можно выпить.

Максим Друганов коротко хохотнул, Паша Приставкин воскликнул: «Ну, ты и завернул!», а Света словно заспешила куда-то, поддерживая в себе радостное возбуждение и подбирая свидетелей: «Нет, это правда, здорово! Так сказать, а? Это просто от души. Так сказать! Ребята, ну давайте же выпьем!»

И, конечно же, все выпили. Снова зазвучала музыка, все заговорили разом, исключая разве что внешне апатичного, прямо-таки художественно молчаливого Игоря Истомина, у которого, по всей видимости, имелись какие-то другие цели для достижения или скорее даже одна только, зато самая главная, несравнимая с остальными, не скорая на результат и не для пустых слов.

А Антона замечание Веры неожиданно задело. Он отнял рюмку от губ, закашлялся, и его глаза увлажнились. Еще вот-вот только он растягивал эти губы в усмешке, будучи уверенным, что Вера его поддержит, а теперь он их едва ли не кусал, потому что она свою рюмку поднимала, как ему показалось, со значением, отвечая улыбкой по поводу его несостоятельности, и, кажется, даже добавляла вот эти слова, он их услышал: «Ты здесь тоже не случайно». Он снова налил себе водки, пытаясь вернуть неожиданно утраченные позиции, и даже, не отказываясь от несерьезности тона, произнес что-то вроде:

— Ну, конечно, мы же друзья, обязательно...

Но Веру уже ничем нельзя было сбить; не расслабляясь, она твердо вынесла свой приговор:

— Капуста и водка твои друзья.

Обратить все в шутку не получилось. Антон тоже затвердел. Неожиданным было то, что он вдруг обиделся. Он сам этого не ожидал. Ему не нравилось, когда его подталкивали. А тут и раз, и два, и три: когда же, когда, случай, не будет и не будет...

«Ну ладно же, посмотрим», — сказал он себе, преисполненный ложной решимости. И прежде чем отправиться на разговор с Аркадием, еще раз выпил.

Глава пятая

ПОСТАНОВКА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

— Тут ведь что получается — родилась семья нового типа: два папы или две мамы. Я не спорю, но это очень зыбкое, неустойчивое состояние, — рассказывал Паша Приставкин. — Возьмите, например, три папы или три мамы — почему нет? Что мешает? А лучше четыре, так надежнее. Я хочу сказать, что не надо останавливаться на полпути, надо двигаться дальше... Это как стул: если у него две ножки, то что это за стул? Сидеть на нем невозможно, упадешь. Две ножки мало, три — уже лучше, поустойчивей, а четыре — так и совсем прочно, крепко, надежно.

— Ты это серьезно? — выдохнул Максим Друганов, отнимая бутылку пива ото рта.

— Вот мне охота шутить на эти темы, — заблестел глазками Паша. — Мы вообще дошли до морального примитивизма.

— Это в каком же смысле?

— В самом обыкновенном... У нас теперь либо черное, либо белое, других оценок и оттенков не существует, все полутона напрочь исчезли. При этом белое может легко обернуться черным, а черное — белым. Все зависит от того, кто выносит оценки явлениям и предметам.

— То есть, ты хочешь сказать, что жизнь упростилась?

— В каком-то смысле, да. Она стала более демократичной, а значит, грубой.

— Ну, уж с этим я согласиться не могу, — встрял в разговор Аркадий Зулусов.

— А вот я могу... Как-то довольно быстро люди у нас от очень многого освободились.

— Две папы, три мамы... — размышлял вслух Зулусов. — Да-а, беда не приходит одна...

Антон подошел в легкую минуту, — они уже заканчивали спорить. Компания собралась под навесом, у камина. Паша курил, Максим пил пиво, а Аркадий доставал из таза куски мяса, заготовленные к шашлыку, и нанизывал их на шампуры.

Начинало смеркаться. Воздух по-осеннему посвежел. Широкая тень ночи, пришедшая с востока, нависала с холмов, дожидаясь ухода вечерней зари, купавшейся в лугах у мелководной Еманчи, еще дальше на запад, уже за невидимые горизонты и пределы. Время словно останавливалось, ползло, спотыкалось. В камине для вида с тугой нерешительностью

потрескивали дрова. Зулусов пробурчал что-то себе под нос, отставил в сторону таз и сообщил:

— Так что можно запускать. Еще и рыба будет, кто пожелает...

Он улыбнулся и неожиданно подмигнул Антону, словно намекая на какую-то смешную историю, хорошо известную им обоим, и вот она вдруг получила продолжение, и в самый раз будет подать ободряющий знак уже посвященному в эти дела. Антон, правда, вовсе не знал, какие тут дела, а потому даже несколько растерялся. Зулусов же преувеличенно уверенной походкой направился вглубь сада, к декоративным решеткам. Со стороны это выглядело так, как если бы дрессированного медведя отправили с целью принести что-то обратно, и он без лишних понуканий взялся выполнить этот трюк.

Воодушевленный принятой водкой, заполнившей все сознательные его уголки, Антон двинулся вслед за ним. Он понимал, что разговор у них будет пьяным, но отступить никак не мог. Напротив, у него еще прибавилось дурной решимости на какие-то признания, хотя бы потому, что такой случай ему вряд ли еще когда представится; другое дело, что он уже не мог разобраться, какой это случай — тот еще или уже другой.

Плющ на перекрестиях реек в декоративной решетке выглядел весьма благородно, даже умиротворенно и располагал к достойной беседе. Рядом оказалась тумбочка-техничка; за распахнутыми створками — какой-то инструмент, упаковка пива и бокалы. Раздался характерный щик открываемой банки, отметившей потерю своего целомудрия соблазнительным дымком. Зулусов откинул назад голову, сделал пару спасительных глотков и облизал губы. Хорошо стало даже Антону. Теперь можно и поговорить.

— Ты вообще скажи мне, — разворачиваясь к нему, спросил Зулусов, — тебе здесь нравится?

— Спрашиваешь... — как-то пусто ответил Антон. — Конечно.

— Конечно... А знаешь, почему так хорошо? — продолжил Зулусов. — А потому что от души. Потому что есть ты, Паша, Максим... Ты понимаешь, что я хочу сказать? Потому что мы собрались здесь вместе. Я ведь всегда хотел, чтобы у меня был большой дом, были в нем гости, чтобы было шумно и весело, в общем, чтобы жизнь была ключом. Я люблю приглашать к себе в гости...

— Ну, так... — вздохнул Антон, неопределенно пожимая плечами.

— Вот так... Пиво будешь? — предложил Зулусов.

— Да как-то после водки...

— Так темное же, самое то.

— Ну, давай.

Отхлебнув пива, Антон словно зарядился прохладой, ему стало еще легче.

— Знаешь, я хотел поговорить с тобой на одну тему, — начал он, прислушиваясь к своему голосу, в котором равномерно выростала уверенность в удаче.

— Тему? Давай, — кивнул Зулусов и сделал еще глоток.

— Это такое дело, — неожиданно замылся Антон, — с деньгами связано... с моими деньгами.

— С деньгами... А что за вопрос? — приподнял брови Зулусов; теперь он еще и закурил, щурясь от дыма, что придало ему оценивающий вид.

«Правда, а какой у меня вопрос? И вопрос ли это?» — подумал Антон, а вслух сказал:

— Понимаешь, у меня есть деньги, вернее, они от продажи квартиры остались. И я не знаю, что с ними делать. Просто так держать — нет смысла, конечно, инфляция все съест. А вот вложить бы куда-нибудь с толком...

— Да что инфляция, — прервал его Зулусов. — Инфляция уже давно все и всех съела. Ничего не осталось. Людей практически не осталось — цепкие муляжи, пустые файлы. А вкладывать деньги с толком...

— Да, — подхватил Антон, пытаюсь ухватиться за верную нить разговора. — Знаешь, я не понимаю, как это все делается. Я в этом просто не разбираюсь.

— Видишь, как у тебя все просто, — неожиданно заявил Зулусов; он даже для убедительности ткнул пальцем Антону в плечо. — Да кто вообще в чем разбирается? Любой так разберется. Дело-то ведь не в этом совсем. Тут другие механизмы портят настроение. Ноль усилий. Какие могут быть деньги, когда есть ты, Максим, Паша... Ну ты же понимаешь меня! И это главное для нас, а деньги... Сегодня они есть, а завтра их нет. Пустота, пыль, упавший занавес, плохие сны и дурацкое поведение...

И тут вдруг Антон с неприятной ясностью, от которой бросило в холод, сообразил, что Зулусов говорит о чем-то своем, в сущности, совершенно его не слушая, не вникая в смысл, потому что смыслом становился сам Зулусов, наличие его фигуры оправдывало все, подавляло близкое пространство и принуждало к молчанию, оставляя Антону только одну возможность — слушать Зулусова, как внезапный дождь, упавший с неба, или навязчивый гул городской улицы.

— Все же ведь изменилось на самом деле. Мы теперь живем из других принципов, и деньги уже не играют той роли, как раньше. Они растворяются в отношениях, в налаженных связях. Они просто воздух, которым мы дышим.

Словно перехватывая инициативу в каком-то неразрешенном споре, Зулусов даже развел руки, как бы наглядно показывая процесс растворения огромных сумм денег в химических реакциях кислоты с действительностью. Антон совсем сник, растеряв остатки так и не высказанных слов на своих пересохших губах, а Зулусов еще и ободрил его, похлопывая по плечу:

— Я тебе еще столько всякого могу рассказать, тебе это будет интересно. Но это потом, потом... Что-то мы тут застоялись. Пойдем-ка, вон девчонки скучают. Пора уже танцевать. Танцы-танцы-обжиманцы, — неожиданно проговорил он, или скорее пропел с неким акцентом и даже выдал прижатými к бокам локтями нечто игривое.

«Как это он меня сделал, а? — думал Антон, подходя к навесу и камину, в котором весело разгорался огонь. — Ловко. Какая глупость! — укорял он себя за несбывшиеся ожидания. — Он мне уже и лекцию начал читать!»

Но, впрочем, ожидания эти ему навязала Вера, и теперь он не хотел бы встретиться с ней взглядом. Надо было увести все это в сторону, как-то сладить. Не хватало ему еще оправдываться! В чем?

И тут его возбуждение опрокинулось досадой на самого себя, — Веру никак нельзя было миновать. Она стояла перед столом, рядом с веселящимся (где недавняя тяжесть?) диджеем Егором Коноваловым, кроткой Олей Бесединой и скучающей Аллой Альховской. В черном коротеньком пиджачке в талию, цветной кофточке с белым воротничком, длинной пестрой юбке в складку (или это у нее платье было?), она словно вытяну-

лась в струнку, ожидая приближения Антона. Оказывается, он был невнимателен к ней и только сейчас ее разглядел. Ну, или почти разглядел. Тонкое и какое-то беззащитное лицо, тишина в глазах, немного вздернутый носик, вечерние волосы, превращенные освещением в объемную инсталляцию. Раньше бы это выглядело трогательно, но не сейчас. Эту Веру еще звали Надеждой, но вряд ли Любовью.

Она, несомненно, видела, как он разговаривал с Аркадием. И было понятно, о чем она хочет его спросить. Наверное, в эту минуту для нее не было ничего более важного. Как это противно. И потому он сразу сказал:

— Ничего не получилось.

— Почему?

Ей хотелось знать больше, чем ему.

— Не знаю. Он просто не хочет говорить. Не настроен... Все же день рождения у него. И правда, нельзя ли просто повеселиться? Мы же не переговоры вести сюда приехали?

В его голосе уже появились нотки раздражения, но она не понимала причины этого.

— Послушай, — он попытался быть уверенным и сильным, — если тебе здесь не нравится, мы можем уехать домой.

— Как ты это себе представляешь? — отозвалась она, иронически приветствуя его неловкий маневр. — Ты сам сядешь за руль «маршрутки», на которой нас сюда привезли?

— Хорошо, — вздохнул он. — Это все-таки день рождения, правда? Сейчас я не хочу ни о чем думать. Потом, не здесь. Ты пойдешь танцевать?

— Иди. Я посмотрю.

Если когда-то он бывал для нее невыносим, то теперь для него невыносимой стала она. Он был готов закипеть от ее упрямства. И что это на нее нашло? Неожиданным тут было все. Он не распознавал причины, и это начинало его бесить.

У распахнутой двери дома он столкнулся с Пашей Приставкиным. Максим Друганов собрался смотреть футбол по телевизору и звал с собой Пашу. Тот отказывался:

— Нет-нет, и не уговаривай, спорт — это государственное заклинание, так что уж без меня. У меня совсем другие игры.

Его поддержала Галка Обойдина:

— Ребята, ну какой футбол, в самом деле? Пойдемте танцевать!

А показавшаяся в прихожей Кристина протянула Паше бутылку водки:

— Это на стол.

Паша и тут отличился:

— Через порог нельзя, — сказал он и шагнул в дом.

Антон вспомнил, что он всегда придерживался самых распространенных суеверий и даже умудрялся отыскивать где-то добавочные. Вот это «через порог нельзя», «сплунуть через левое плечо», «сегодня большой праздник — стирать нельзя» и прочее всегда было с ним и использовалось по назначению. Антон вдруг подумал, что Паша Приставкин и умрет когда-нибудь не просто так — от старости или болезни, — а обязательно по какой-нибудь верной примете, меткой поговорке или поговорке.

У кустов смородины, обновленных навалившейся ночью до версии таинственных зарослей, — встреча, почему-то оказавшаяся для Антона неожиданной. Наверное, он и сам не знал, куда двигался.

— Наконец-то! — вытянул свой густой голос в неопишемое радушие

Зулусов. — Ты где бродишь? Меня тут девчонки совсем одолели, спрашивают, тобой интересуются.

— Где? — разыгрывая из себя покладистого идиота, спросил Антон и завертел головой. Из тени на освещенное место выступили три фигуры.

У них были какие-то взволнованные, разгоряченные лица. Даже у Аллы Альховской, почему-то показавшейся Антону несколько капризно-холодной при знакомстве, несмотря на народность ее сарафана. Для него неожиданным было обнаружить, что она мило ему улыбается. Или это так мило должно было выглядеть со стороны. Впору было запутаться. Оля Беседина была все так же беспечна, но теперь к этой беспечности Света Друганова, державшаяся несколько сзади, словно прикрепила легкую заинтересованность, которая в сочетании с темно-каштановыми волосами, оформленными в стрижку каре, окончательно подчеркивала простодушную и приятную симметрию лица.

— Антон у нас знаток кино! — протрубил Зулусов.

— Ты об этом, кажется, уже рассказывал, — поморщившись, заметил Антон. — Даже я теперь об этом знаю!

— Главное, что сам знает! — пояснил девчонкам Зулусов.

— Ой, правда? — невпопад откликаясь на слова Зулусова, вступила в разговор Оля Беседина, а сам Зулусов, ничуть не смутившись, доверительно прибавил Антону: — Я им про тебя уже все рассказал.

— А теперь мы хотим послушать, вернее, узнать, что нового в мире кино, — беззаботно продолжила Оля Беседина, и Антон заметил в ее правой руке наполовину пустой бокал.

Не сок, конечно, решил маститый кинокритик Лепетов, недавно вернувшийся с одного престижного европейского кинофестиваля, где он был членом жюри. Оля уже приготовилась его слушать, поигрывая ножкой, скрестив руки особым образом — так, чтобы не пролить содержимое бокала, а он, поначалу отнекиваясь, мыкаясь (едва не дождавись нестройного девчачьего, школьного хора: «Ну, очень, очень просим!») и потом неожиданно воодушевляясь, словно он был принужден прилюдно отомстить кому-то, взялся прочесть лекцию об истории кино — пусть и сбивчиво, в силу понятных причин, но, тем не менее, содержательно.

— И не надо мне говорить про американское кино, про то, что Голливуд всех съел. Американское кино с середины шестидесятых, затем семидесятые и еще начало восьмидесятых — это самое то, но и все на этом. Дальше пошла сплошная коммерция. Вы говорите, что очень нравится «Зеленая миля»? Это самый нелепый фильм из широко известных, который я видел. Тюремная сказка по Стивену Кингу, да кто бы сомневался? Лидер интернет-голосования среди подростков. А на деле неудобоваримая смесь из судебной драмы «Мертвец идет», детской комедии «Стюарт Литтл» и сериала «Секретные материалы». Утомительное, все же три часа идет, кино о праве мышонка на самоопределение, чернокожем гиганте-кудеснике, он же Айболит и народный целитель, а также палаче-гуманисте Томе Хэнксе, 108-летнем пенсионере, когда-то страдавшем от простатита. Ну, разумеется, ему слюнявый, губастый, слабоумный негр-плакса поможет, вылечит. Вот только себе этот чудо-экстрасенс помочь не может, он призван творить добро исключительно для других. В «Зеленой миле» все пишут: кто от боли, кто для смеха, а кто от страха. Мораль проста и в то же время чудовищна: если ты убиваешь людей со скорбным лицом, ты — хороший человек, а если с ухмылкой,

то негодяй. Вообще, насчет понятий добра и справедливости у авторов фильма случилась полная путаница. А мне говорят, что этот фильм как раз и учит добру и справедливости, — вот что забавно... Всякий американский режиссер, снимающий так называемое «независимое кино», мечтает, чтобы его заметил Голливуд и пригласил снять «Бэтмена», «Человека-паука» или еще какого-нибудь «Хоббита» с огромным бюджетом. Вот главная цель, все остальное просто подготовительная работа... Искусством кино сделали немцы. Эпоха великого немого — Фриц Ланг, Пабст, Мурнау... Все будущие американские триллеры вышли из «Кабинета доктора Калигари», снятого в 1920 году, а все фильмы ужасов — из «Голема» и «Носферату». Да о чем тут говорить? А возьмите литературу, так называемый «поток сознания». Ну там Джеймс Джойс, Вирджиния Вулф... У Льва Толстого, в «Анне Карениной», в конце романа, когда Анна идет на вокзал, чтобы, как принято считать, броситься под поезд, весь этот еще не названный, будущий метод «потока сознания» легко умещается на нескольких страницах. А больше Толстому просто и не нужно было, он не собирался из этого раздувать целый роман!

— Вот мы и до литературы добрались, — прервала его монолог Оля Беседина.

— Я же вам говорила! — утверждая какую-то свою прежнюю мысль, явно положительного для Антона характера, наконец-то высказалась Света.

— Ну, про литературу даже и интересней поговорить, — несколько смешался неожиданный лектор. — Вот Чехов Антон Павлович. А знаете ли вы, что он весь, все тридцать томов полного собрания сочинений, вышел из небольшого произведения Достоевского «Маленькие картинки»? Это не те «Маленькие картинки», которые входят в «Дневник писателя», а отдельная статья. И это при том, что сам Чехов находил Достоевского скучным и многословным.

— Неужели правда? — как-то уж очень бесстрастно спросила Алла Альховская.

— Все будущие чеховские типажи описаны с достаточной полнотой и убедительностью, — сообщил Антон.

— Так, подожди, — вдруг влез в разговор словно очнувшийся от серьезных раздумий Зулусов. — Что ты там сказал — «как принято считать»?

— Ты о чем? — не сразу сообразил Антон, но Зулусов его опередил:

— Да про Анну Каренину... Она что — разве не бросилась под поезд?

Оля и Алла, как две привычно настроенные на одну волну подружки, рассмеялись, но, впрочем, возможно, и безо всякой причины, а Света уставилась в лицо Антону, ожидая от него то ли ответа, то ли хотя бы какого-то движения в лице. Но отвечать ему не пришлось, потому что из пространства, оккупированного ритмичными звуками музыки и ограниченного камином и столом, раздался подогретый затянущимся ожиданием голос Галки Обойдиной:

— Ребята, ну где вы там? Без вас никак!

Она хотела подвигаться, иначе говоря, потанцевать — нормальное желание для дня рождения на свежем воздухе, — но поддержать ее было некому. Игорь Истомина сидел за столом все с тем же каменным выражением лица, словно он дал некий зарок на этот вечер или из чисто спортивного интереса взялся побить рекорд замкнутости, так что даже не понят-

но было, как такого персонажа можно расшевелить. В Ирине Приставкиной вдруг обнаружился какой-то неприступный, модельного ряда вид, подтвержденный старой журнальной обложкой. Замерев в этом состоянии, лишь только изредка кивая головой, она слушала то, что ей рассказывал диджей Коновалов, который (и это все знали) никогда не танцует, потому что именно он запускает музыку, и это самое главное, а все остальное вторично; он разве что ногой может притопнуть пару раз, задавая ритм, и подбородком потрясти, не более того; теперь же, чтобы лишний раз обозначить свое профессиональное присутствие, он заметил скептически подошедшему среди прочих Зулусову: «А музыка у тебя не очень, ничего другого нет?» Оставалась еще Вера, но и она уже не оставалась ни в каком смысле, потому что строила в своей голове какие-то нездешние планы, отражавшиеся на ее обеспокоенном лице, и находилась в напряженном ожидании, не соответствующем никаким музыкальным композициям.

— Ну что, продемонстрировал девочкам свои познания? — спросила она Антона. — Удачно вышло? Доволен?

Он растерялся:

— Что ты от меня хочешь?

— Я всего лишь хочу, чтобы ты не выглядел дураком.

Прозвучало уже приговором, к тому же он ее совершенно не понимал. Вот даже не знал, что ему делать дальше — то ли продолжать стоять перед ней, то ли сесть рядом и обнять в утешение.

— Я все поняла, — продолжила Вера без оптимизма в голосе. — Его и твои деньги не могут подружиться между собой, потому что между ними большая разница. Это серьезное препятствие, на самом деле, и потому не можете подружиться вы сами.

— Но подожди... — попытался протестовать Антон; он уже готов был рассмеяться, чтобы окрасить явную нелепость в спокойные иронические тона; «Эко ее забрало» — даже промелькнуло у него в голове, но тут Зулусов зычным голосом обнаружил себя как хозяина, созывающего гостей. Ему и вправду было что сообщить.

— Всем внимание! — с пьяной решительностью объявил он. — Мы только что тут про кино говорили, и про литературу еще. Говорили разное, но интересное, однако, забыли про театр. Хорошо, что Света мне напомнила...

Он протяжно вздохнул, отправляя на вынужденный отдых какую-то, наверное, самую небольшую частичку своего беспокойного «я», и снова вернулся в тему:

— В общем, у Светы есть интересное предложение, которое касается буквально всех...

— Так уж и всех? — весело поинтересовалась Галка Обойдина.

— Галя, — подхватился в ее сторону Зулусов, — тебя, возможно, в первую очередь. Ты только дослушай до конца, хорошо? — И тут же махнул рукой, словно не рассчитывая на дальнейшее понимание. — Пусть лучше Света расскажет, у нее лучше получится.

— Надеемся! — с притворной игривостью протрубил в составленные к носу ладони Егор Коновалов.

Света взялась за дело чересчур старательно и с редкой на каждый день радостью.

— Друзья, — открылась она с такой непосредственностью, в которой угадывалась безбрежная алкогольная доброта, что впрям было подумать

о неответствии собранных здесь значительности момента. — Мы находимся в этом прекрасном месте, в гостях у нашего замечательного Аркадия, который все так здорово здесь организовал. И сама природа благоприятствует нам, не отпуская до конца лето и медленными шажками приближая осень...

На какую-то долю секунды Антону вдруг показалось, что у нее на глаза навернулись слезы; во всяком случае, они как-то странно и предательски блеснули, выдавая сильное чувство, с которым Света держала свою речь. К поневоле притихшим слушателям (а кто-то еще и громкость музыки приглушил) присоединились Кристина и Паша Приставкин: он с бутылками вина и водки в руках, она с живописным блюдом — там дыбился горой какой-то избыточный для здоровья кроваво-майонезный салат.

— Да, мы о многом сегодня здесь говорили, вспоминали, шутили, но забыли, пожалуй, о самом главном. Мы забыли, кем является Аркадий Павлович Зулусов. Мы забыли, что он очень известный, прославленный театральный режиссер...

— Уже нет, — заметил Зулусов. — Все в прошлом.

— Нет-нет, — запротестовала Света, — бывших режиссеров не бывает. Это та профессия, которая никуда не уходит. С ней невозможно расстаться, она остается навсегда, прирастая к коже...

«А где же Максим? — подумал Антон. — Такое зрелище пропускает. Смотрит свой футбол? Да эта трансляция куда интереснее...»

— И поэтому у меня появилась одна мысль... Нам всем надо как-то использовать талант Аркадия Павловича...

— В мирных целях? — брякнул Паша Приставкин, но никто не откликнулся на его попытку пошутить.

— Многогранный талант мастера интерпретаций, — продолжила Света, заставив Антона на этот раз подумать о том, что можно быть нелепым и в искреннем проявлении своих чувств. — Этот талант, этот мастер находится среди нас, а мы его словно не замечаем...

— Но что мы можем сделать? Я не могу смотреть на солнце, мне глазам больно, у меня нет солнцезащитных очков, — снова попытался свести все к шутке Паша, и Света ему и всем остальным ответила:

— В наших целях поставить спектакль — вот в этих декорациях, на природной сцене, под руководством мастера...

— Что-то вроде любительского театра? — уточнила Ирина Приставкина.

— Скорее всего, придворного, — не унимался ее муж.

— Не надо никаких ярлыков, — сказала Света. — Это совершенно свободное действие, основанное на общем интересе.

— А что, это здорово, мне нравится, — отозвался, наконец, Зулусов. — Спектакль на природе. Что-то вроде уличного театра.

— А кто играть будет? — поинтересовалась Оля Беседина.

— Так мы же играть и будем, — расцвела Света. — Неужели непонятно? Мы будем действующими лицами этой либо драмы, либо комедии...

— Лучше комедии, — сказала Вера, — драм у нас в жизни и так хватает. Кстати, и исполнитель главной роли у нас уже имеется.

— Вот и отлично! — оживилась Галка Обойдина, а Алла Альховская спросила:

— Пардон, а зрители? Мы же и зрителями будем? Или не все играть будут? Я вот, например, не хочу быть актрисой...

— Я тоже, — неожиданно очнулся ее приятель. — У меня нет таких способностей.

— А какую пьесу будем ставить? — спросила Кристина.

— Разумеется, «Гамлет», — ответила Вера. — Или «Дон Кихот».

— Только не «Гамлет», — протянул диджей Коновалов. — Этого еще не хватало!

— Тут надо подумать, — тем самым уже выказывая свое согласие, прибавил Зулусов. — Спешить нам некуда.

— Да, «Дон Кихот» — это сильно сказано, — не преминул вставить свое слово и Антон Лепетов.

Ему эта затея не очень-то нравилась. Да и с какой стати? Какая-то забава, из которой еще неизвестно, что получится. И зачем? Что это вдруг пришло в голову Свете? Ляпнула так ляпнула. Неужели заняться больше нечем?

Тем не менее, как бы состоялся предварительный набор в исполнители ролей непонятно какой еще пьесы. И соответственно зрителей. Антону, в силу его профессионального прошлого, отказаться от актерской участи никак не удалось. Да и как бы ему это удалось, если будущую пьесу будет ставить его друг Зулусов? Вера приветствовала его назначение на одну из главных ролей (а какую же еще?) недоброй ухмылкой; она оставалась среди зрителей. Впрочем, Зулусов сразу же пообещал всем, что и актеры, и зрители будут меняться местами по ходу пьесы. Это такой эксперимент, сообщил он, скучно никому не будет. «Как здорово!» — воскликнула Света; выглядело это так, словно она добилась, чего хотела, и наконец-то открылась дорога ее нереализованным прежде желаниям. А у Зулусова даже лицо сразу изменилось. Нет, оно по-прежнему было красным, усугубленным принятием спиртных напитков, но зато теперь оно как-то обрело твердость, даже некую идейность, которая всегда высветит театрального диктатора, готового принудить к изнурительной работе подневольных актеров. Очевидно, Зулусову уже мнился готовый проект на свежем воздухе (тут, если подождать совсем немного, то на лице проступят детали). Оставалось только воплотить его в жизнь.

Антону почему-то вспомнился модный, вечно молодой актер, занятый в театральных постановках Зулусова. Еще больше его знали по кино. С несколько округлым, бабьим лицом, он часто и слишком уж старательно изображал на экране опущенного солдата — то по обстоятельствам жизни, стоящим выше него, то буквально физически. Тем не менее, играл он еще каких-то белобрысых мачо, фехтующих на картонных и лазерных мечях, ошибочно обвиненных воров и убийц, совестливых киллеров, а не то просто фальшиво бычился как гопник, и наконец, блистательно сыграл Ганю Иволгина в зулусовском «Идиоте». Нет-нет, быть таким податливым пластилином в руках Аркадия Антону совсем не хотелось. Может быть, раньше и да, но не теперь.

Как бы там ни было, а новый проект Зулусова в благодушном подптии утвердили. Скрепила соглашение Галка Обойдина, которую прочили в актрисы второго плана; она просто скомандовала от избытка чувств: «Ой, ребята, ну давайте выпьем!» Больше всего такому повороту была рада неугомонная Света — даже и непонятно, по какой причине. И Антон уже вроде бы согласился про себя по слабости: «Ну что ж, можно и дурака повалить».

Предложение, что поставить, не заставило себя долго ждать. Паша

Приставкин, теперь без торжественных обязательств, по самой обыкновенной потребности снова выпил водочки, подцепил вилкой грибочек в тарелке и сказал:

— Здравствуй, груздь! Ну чем не название для современной пьесы? Какие могут быть возражения? — Он обвел всех собравшихся у стола блуждающим взглядом. — Я предлагаю поставить пьесу под названием «Здравствуй, груздь!» Это будет широкое общественное полотно, своего рода энциклопедия современных нравов... Постмодернистская история в соц-артовских обертонах. Рассказ о самом обыкновенном грузде, росшем где-то на лесной опушке и попавшем к людям в лукошко. Нравственные коллизии непременно, а еще историческая память и, разумеется, безграничная актуальность...

— По-моему, ты уже вышел из берегов, — заметила ему жена.

— Какие могут быть в творчестве берега? О чем ты? — продолжил Паша и закусил грибом.

— Между прочим, это не груздь, — сказал неожиданно насупившийся Зулусов.

— Да какая разница! — не унимался Паша. — Суть-то совершенно в другом. Это символ. В нем время должно отразиться, чтобы вернуться потрясенному и благодарному зрителю откровением...

— Боже ты мой! — выдохнула Галка Обойдина.

— А что, есть несогласные? — как бы удивился Паша. — Могу объяснить, мне не сложно. Ставить такую пьесу надо спонтанно, а играть экспромтом, по наитию. Вообще все должно носить случайный характер, никаких обязательств, заранее придуманного текста — полная безответственность, игра как таковая, торжество абсурда...

— Вряд ли мы будем ставить такую пьесу, — тяжело сказал Зулусов.

— Ну, все, теперь будет куражиться и паясничать, — тихо произнесла как бы для себя, на сторону, Ирина. — Не остановишь.

— Это почему так? — не услышал ее слов Паша. — Название не нравится или еще что-то?

— Может быть, отдохнешь? — предложил Зулусов.

— А мы что тут делаем? — вполне невинно улыбнулся Паша.

— Павел Алексеевич! — раздался неожиданно внушительный голос Ирины Приставкиной.

Это возымело действие, он сразу сделался серьезным, уперся взглядом в стол и выдал с пониманием:

— В общем, груздь свинье не товарищ. Я правильно понял?

Ему уже никто не отвечал, говорить тут что-либо, кажется, было бесполезно. В неловком молчании затаилось легкое соболезнование. И тут Паша решил завершить свое неудачное выступление. Он снова полез в тарелку с грибами, выбрал себе образец покрупнее, наколол его вилкой, другой рукой наполнил рюмку и сказал:

— Прощай, груздь!

Но выпить не успел: едва поднес водку к губам, как тут же рухнул с лавки спиной в мягкую канадскую траву «грин». К нему сразу кинулись, подняли. После недолгого совещания Игорь Истомина и Егор Коновалов повели пострадавшего, выглядевшего как внезапно лишившийся сил канатоходец или некая вялая субстанция без опоры, в дом. Ирина Приставкина даже не привстала со своего места, а только сказала, словно в назидание кому-то: «Вот так всегда у нас!»

ТАНЦЫ, ЛУНА И ЕЖИК

И тут, наконец-то, все завертелось и пошло как надо. Антон словно раздваивался: одна его часть, та, которая была, несомненно, лучше, наблюдала за той, которая стремилась стать хуже. При этом он все понимал. Ну, или пока что понимал — как ему казалось. Сознание стремилось покорить внезапную обиду и впадало в вызванное ею безрассудство. Уж если у меня все так действительно плохо, так пусть же будет еще хуже.

Он начал выкидывать коленца — с досады, должно быть. Вот несколько игривых движений в поддержку общего настроения: засеменил ногами, поднял руки, пытаясь поймать ритм, стойким и оловянным вошел в веселый круг. Вот медленный танец: его возможности более обширны, тут можно многое изобразить. На его лице томление и даже страсть. Склоненная голова ищет утешения и находит его в карамельном запахе волос. Это такая игра в возбуждение: губы отыскивают местечко чуть повыше уха. Удобно устроился. Галка Обойдина, Оля Беседина, Ирина... Кто на очереди? Вот и Егор Коновалов повеселел, услышав знакомый мотив; показал большой палец Зулусову, облапившему Галку. Она в своей тарелке, не забывает еще командовать и призывать. Она прирожденный организатор, ей нужен широкий хват. Чувствуя себя обязанной за что-то, вдруг замерла, схватив Зулусова за локти, и повела головой по сторонам: «А где Алла?» Игорь откликнулся: «Она в доме, наверху. Ей нехорошо стало. Ничего страшного». И, разумеется, легко можно было понять, по какой причине ей стало нехорошо, всего лишь обратив внимание на его лицо, захваченное неверным дискотечным светом в окружении бутылок. Тут и Зулусов выказал ответственность хозяина за происходящее; он обратил свое тяжелое и мокрое от избытка жизненных соков лицо к Антону:

— Ты ходил бы за ней, посмотрел, как там она...

Антон сейчас только тронь — сразу двинется в заданном направлении, как пластмассовая детская игрушка на колесиках. Идет бычок, качается... По лестнице упрямой, и вот он наверху. Еще с улыбкой на губах, случайными шагами пробуя пол на прочность. Даже не мог потом вспомнить, были ли у лестницы перила. Должны быть, конечно, а как же иначе? Пауза перед закрытой дверью. Надо спасать. Она ведь там страдает в одиночестве. Все ли с ней в порядке? Эй!

Он взялся за ручку и толкнул дверь вперед. Дачная обстановка в пределах терпимой расхлябанности. Глаза среди множества разбросанных вещей, протестующих против тесноты, не сразу, но выбирают главное: накрытое одеялом тело на кровати вдоль стены и голову с гладкими блестящими волосами. Голова Аллы повернулась, сдержав порыв Антона (он только собрался спросить про ее самочувствие), и уставилась на него неожиданной оценивающим взглядом. Вот так сразу, словно ждала, что кто-то должен прийти. Ее глаза блуждали, а губы сделали легкую разминку языком, отмечая пересохший источник. Все заняло секунды две-три, не больше. И тут она произнесла:

— Я знаю, зачем ты пришел.

Она это именно произнесла, а не сказала. И выражение глаз подчеркнуло ее слова. Антон от неожиданности смугился. Ему пришлось рот открыть — так запыхался, когда поднимался наверх. Он ничего не сказал ей в ответ и вышел из комнаты. Вот это да! Получил так получил. Надо

же так подставить... Эго словно разоблачили в грязных намерениях. А какие глаза у нее при этом были: пьяные — это понятно, но сколько там еще было намешано — знания себе цены, борьбы с плачевным состоянием, желания уступить, обвинить, огрызнуться... всего и не разглядишь сразу. У Антона сложилось такое впечатление, что он не первым туда сунулся.

Это небольшое происшествие его задело. Он на мгновение даже протрезвел, чтобы затем снова окунуться в непроходимое болото обиды. «Я знаю, зачем ты пришел». И каким еще тоном! Слишком много она знает... Она меня не знает! Вот дура-то... Какая ей Финляндия? Лежи там, пока голова не проветрится. Может, повезет тебе, и финн какой-нибудь приснится, вылечит тебя от дури, сразу полегче станет. Нет, ну это вообще... Он готов был развести гигантскими лапами в стороны, если бы они у него были, чтобы показать крайнюю степень изумления.

На площадке перед столом и камином продолжали танцевать. В камине приплясывал огонь, облизывая потрескивающие поленья. За столом оставались двое: Вера и Игорь Истомина. Они сидели на расстоянии друг от друга, их взгляды были проложены в разном направлении. Игорь так вообще большей частью смотрел на свои руки, в переплетение пальцев, раздвигающихся в такт музыке, а когда поднимал голову, скользя глазами по краю танцующих, то обнаруживал в лице некий интерес, каким отмечают принудительное веселье. Вера же была непотопляемо строга, сидела прямо и смотрела прямо перед собой, то есть несколько вбок, обособленно, не прихватывая своим осязательным недовольством Антона. Он и подумал: «Ну и сиди!» Тут же вспомнил про Кристину: куда она подевалась? Вот кто ему сейчас нужен! И он нужен ей — это точно. А не она ли только что прошла от дома к декоративным решеткам?

Антон остановил Зулусов — просто руку положил на плечо, оторвавшись на время от ритмов. Все сразу и объяснил, и себя добродушно выдал.

— Как там Алла? А то к ней Паша по ошибке поднялся, не знал, что место занято. Теперь внизу приходит в себя.

— Жива ваша Алла. Что ей делается? Лежит и ждет финна, которого среди нас нет. Уж не знаю, к счастью или к несчастью.

Зулусов понимающе усмехнулся, и Ира Приставкина подхватила его смешок, и даже с большим задором. А Кристины уже и след простыл — не видно нигде. Чем только занята, непонятно.

Ну и ладно. Сколько всякой ерунды намешано вокруг, и не разобрать никак человеку. Будем пробиваться к хорошему настроению другим путем. Движение утверждает жизнь. А Игорь все сидит, у него явно какая-то идея в голове, он философ. «Я знаю, о чем ты думаешь». Света была ближе всего, от нее просто веяло вечерней доступностью. Эти искорки в серых глазах, чуть замедленный влажный взгляд. Легко взять ее за руку и повести в танце. Ты смотришь, Вера? Я нравлюсь женщинам. Я никогда в этом не сомневался. У меня есть обаяние, им нравятся мой ум. «Вот уж не знал, что Максим такой болельщик. Неужели до сих пор футбол смотрит?» — «Второй тайм, наверное». — «Да какое там второй... Скорее, дополнительное время». — «Так и до пенальти дойдет...»

Ах, ты, моя хорошая! Антон крепче прижался к Свете, скользнул губами по ее щеке. Так это просто. Ему сейчас весело и хорошо. Настроение выше любых смехотворных придилок. «Ты куда?» — «Я...» Она тоже увлеклась и, казалось, забыла про все на свете. Раскраснелась. Что-то

вспомнила нехстати и тут же насовсем забыла. Все остальное сейчас не имеет значения. В ее глазах все же открывается некоторое удивление. Ну да, она восхищалась, но, скорее всего, не предполагала такого развития событий. Она сдерживалась? Какая глупость! Тут вообще ни о чем нельзя думать. Зачем? И музыка обнажала вспыхнувшее желание: бум-бум-бум...

Он поцеловал ее и сразу ощутил все: тяжесть ее груди, поднявшейся ему навстречу, податливость прижавшихся бедер, нетерпение лона. Удивленного взгляда уже не было; глаза были закрыты для получения заслуженной награды. Какие люди! Губы стали липкими от внезапно сбывшихся ожиданий. Оказывается, они были, и он себе в этом признался. Они прятались где-то глубоко внутри него, и он всего лишь какой-то час назад ничего о них не знал, пока не представился случай. И она, наверное, не знала. А теперь нельзя было остановиться, даже мыслей таких не было, их вообще не стало. Они просто целовались, и это было так здорово, что хотелось продолжения. Антон никак не мог оторваться от Светы, и это уже начинало выглядеть каким-то изнурительным поединком, из которого нет никакой возможности выбраться прежним.

И тут вдруг музыка оборвалась, оставив их с пресекавшимся дыханием, словно они так и не добежали до пригрезившейся цели. В наступившей оглушительной тишине капкан наконец разжался и отпустил их на свободу, которой надо было как-то распорядиться. Галка окликнула Свету по существу пустяку, Зулусов всем предлодился окончательно разобраться с шашлыком, Антон вернулся к столу, выпустив из рук добычу, — и как-то сошло все на нет, словно внезапный порыв ветра, рассеявшийся в мелких песчинках в дальнем конце улицы.

— Что тут у вас? — спросил он невпопад с фальшивой приподнятостью в голосе.

— А у вас? — ответила Вера ему в тон, но с явным неодобрением.

— Все как обычно, — попытался он соврать, и сразу же был уличен.

— Как обычно? А у нас с Игорем тут интересная беседа состоялась. Он поделился со мной своей идеей. Очень необычно.

— Я так сразу почувствовал, что у него обязательно есть какая-то идея, — кивнул Антон и сел за стол напротив Веры. — Молчаливый философ.

— Да, — согласилась Вера и взглянула на Игоря, — это целая философия жизни и смерти. А идея состоит в том, что все без исключения проживают одинаковую жизнь, что бы там ни говорили. По существу, жизнь богатого и жизнь бедного ничем не отличаются друг от друга. Она все равно проживается, иначе говоря, расходится...

— Или растрачивается, — усмехнулся Антон. — Ну да, и бомж, и президент находятся в равных условиях.

— Твоя ирония понятна, но речь тут о другом. Все функции человеческого организма одинаковы: это потребность в еде, сексе, сне. Я правильно излагаю? — Вера неожиданно обратилась к сидевшему рядом и хранившему молчание Игорю.

— В общих чертах.

«Чего она хочет? — насторожился Антон. — И почему он сам не расскажет про свою дурацкую теорию?» В том, что она дурацкая, он уже не сомневался.

— А значит, — продолжила Вера, — у кого-то больше, у кого-то меньше жизненных благ, но круг жизни все равно ограничен. Даже выбор под

вопросом, потому что часто все решает случай. Будь ты хоть семи пядей во лбу, а тебе просто не повезло, и торжествует какая-нибудь посредственность. Непросыхающий алкоголик-неудачник может прожить в два раза больше преуспевающего бизнесмена, умершего от разрыва сердца. И где же справедливость?

«Она что, издевается надо мной? — заволновался Антон. — Что тут без меня произошло?»

— В общем, не буду тебя утомлять, — словно почувствовав его настроение, сказала Вера, — но уж если жизнь у всех в итоге приходит к одинаковому безрадостному финалу, да еще с разочарованием в ней, то можно хотя бы выработать себе красивую смерть...

— Подожди, — туго сообразил Антон. — Ты к чему это сейчас?

— Ну как, удовлетворил свой сексуальный голод? — неожиданно спросила Вера.

— Это... — Он почувствовал, что ему надо защищаться. — Это что за ерунда?

— Ерунда?

— Просто чушь какая-то... — Он зачем-то улынулся Игорю и пожал плечами.

— Разведчика из тебя бы не получилось, а вот предатель ты был бы отличный.

— Я тебя не понимаю...

— Не понимаешь?

И тут вдруг вспыхнуло — нет, не пламя в камине, — в глазах. Глаза обожгло. Вера схватила стоявшую перед ней рюмку водки и плеснула ему в лицо.

Он заморгал от неожиданности, утерся ладонью и к своему глупому виду добавил еще более глупые слова:

— Вот как... Замечательно.

Некоторое достоинство в его реакции все же имелось. Он даже его закрепил самым случайным образом, сказав Игорю уже как бы невпопад:

— Я знаю, о чем ты думаешь.

После чего поднялся и ушел.

Игорь Истомина между тем ровным счетом ничему не удивился, словно нечто подобное постоянно у него на глазах разыгрывается и является самым естественным выходом из любой спорной ситуации. Продолжал сидеть все так же молча и безэмоционально. Да он бы, даже если на этом же столе кого-нибудь вдруг принялись рубить топором, не дрогнул, а только лишь сдвинулся бы чуть в сторону, чтобы не забрызгаться летучими ошметками мяса и крови. Такой вот крепкий на чувства парень.

Вера же не смогла больше сдерживаться, раздражение взяло в ней верх. От избытка решимости она готова была еще что-нибудь учинить. А как иначе ей было поступить? Не обращать внимания? Сделать вид, что ничего не происходит? Ну, развлекается, в пьяный раж вошел, понесло по бездорожью... Нет, ну как можно быть таким дураком? Неужели он думал, что обрадует меня своим поведением? Да не думал он обо мне. Вряд ли он вообще о чем-то думал. Самый настоящий придурок. Идиот, каких мало... А она-то хороша, аж глаза закатила от удовольствия! Еще немного, и ногу бы на него задрала. Кобыла неудовлетворенная. Какой пошлый и гадкий театр мне устроили!

Этот инцидент, однако, никем больше замечен не был. Снова звучала музыка; кто-то танцевал, кто-то выпивал, смеялся и что-то рассказы-

вал. Появился заспанный Паша Приставкин, а вот Антон куда-то исчез. Но Вере он сейчас и не был нужен. Она просто видеть его не могла. Ее подхватила под руку Ира Приставкина, Оля Беседина пристроилась рядом вольнонаемной слушательницей — и все закружилось в беспечности момента, лучшем растворителе выпавших осадков.

С Кристиной произошла другая история: не включая света, она вошла в дом с опустевшим блюдом в руках, чтобы поставить его на столик рядом с дверью, — она любила порядок и была аккуратной в движениях. Ее внимание привлек боковой свет, она повернула голову на шорох в соседней комнате. Иногда достаточно сделать два-три шага в сторону, и мир разом меняется вместе с тобой. Полученный результат озадачивает, завораживает, отталкивает, притягивает, смущает, ставит в тупик и открывает новую дорогу в жизни.

Дверь в комнату была приоткрыта. Кристина увидела и узнала все. Напряженная спина Антона, стоящего перед письменным столом. На нем — раздвинутые ноги и запрокинутое лицо Светы. Сбивчивый и неловкий ритм, бестактное дыхание. Это было продолжение Антона — вокруг больше ничего не существовало. Не стало и Кристины, пропавшей даже для себя.

Как рождается чувство? Из чего? Забилося сердце, пересохли губы, тебе сделали подножку — нет ответа. Кристина сглотнула комок в горле и тихо вышла. Антон на мгновение замер и оглянулся. Легкий и отрезвляющий ветерок опасности. Да нет, показалось.

Чувства удовлетворения не было, радости — тем более. Какая уж тут радость... Отомстил? Ага, отомстил. Показал себя. Типа, настоящий мачо. Антон вспомнил, как в этот момент Максим на втором этаже у телевизора заорал: «Гол!» Подошел к большому зеркалу в прихожей, увидел себя в полный рост. Немного скособочен, неровен. Это последствия бурного вечера. Самое интересное на лице. Это лицо, воспаленное на ненужные подвиги. В нем вызов и одновременно сожаление. В темно-карих глазах поселилась непреходящая обида на все на свете. Нос цинично округлился, губы глумливо кривятся. Особой открытостью выделялся высокий и блестящий наглый лоб. Ух, ты, брат, хорош несказанно! «Я знаю, как тебя зовут». А зрение подернуто пеленой.

Уже давно стояла ночь — тихая своим осенним воздухом, не имевшим никакого отношения к посторонним звукам, в котором все еще сквозило обманчивое в свежести прощание с летом. Антон обогнул дом с невидимой для праздной публики стороны, — меньше всего ему сейчас хотелось с кем-либо встретиться, — и тут вдруг его словно обожгло: снова вернулось чувство досады, а теперь еще нахлынула злость. Все это веселье, спрятанное за домом, стало ему противно. Последующее решение было таким же неожиданным: повинувшись зловредному импульсу отверженности, он придумал себе и всем наказание. Темные кусты вдоль стены помогли ему остаться незамеченным, звук калитки в воротах уверенно гасился тяжелым и беспробудным музыкальным ритмом.

Он ловко выбрался наружу, расставшись с территорией праздника. Теперь он знал, куда ему идти — в самом верном направлении, в никуда. С острой намеренностью и расчетливым отчаянием минуты, с неколебимой уверенностью в своей правоте, способной перевернуть здравый смысл, чтобы в итоге остаться неуязвимым. С каждым шагом, уводящим его от усадьбы Зулусова, его решимость только возрастала.

Он спустился к ухабистой дороге, покоренной днем «газелью», и по-

вернул направо, повторяя обратный путь. Вокруг было пустынно и спокойно, если не считать постепенно затихавших за его спиной музыкальных звуков. Он не оборачивался и даже как бы спешил, словно обещался какому-то неотложному делу впереди. Наконец сообразил: зачем? — и сбавил шаг. Дышал полной грудью, вступая в ночные владения единственным претендентом на собственность. Слева растянулись сырые луга, угадывалась пойма реки, а по другую сторону, за заборами прятались притихшие домики; они лепились и тянулись вверх по склону ласточкины-ми гнездами, хотя днем прикидывались дачными строениями.

Теперь он начал подниматься вверх по асфальтовой дороге, петлявшей среди тесно прижавшихся друг к другу членов кооператива, погруженных в заслуженный сон. Антон почувствовал себя еще увереннее, у него даже прибавилось сил; в движении алкоголь испарялся, и подъем в гору уже представлялся ему репетицией восхождения к каким-то обновленным началам, о которых он по недоразумению однажды позабыл. Вот, наконец, и вершина, можно перевести дух и оглянуться, чтобы понять, где он оказался.

И тут он словно повторил предыдущие движения, увидев себя со стороны, как еще одного человека, очень похожего на него, и когда эти два человека соединились в одно целое, он сразу же протрезвел. Все внутри него как будто остановилось для уяснения порядка и равномерности.

Когда Антон поднялся наверх, пришло время обратить внимание на себя, и он услышал, что запыхался в каком-то радостном предвкушении. Мысли пробежали через его голову куда-то дальше, едва ли доверяя ему; он оглянулся и увидел дальнюю кромку леса, темное серебро реки и луну, прятавшуюся за спящие облака. В нем шевельнулось прошлое — это чувство скользнуло по затылку опасливым холодком; все было знакомо, как и прежде, и протягивалось безмерной надеждой через годы.

Он снова стоял у окна или на балконе, чтобы в очередной раз попасть в замкнутый круг, и даже так: балкон возвышался впереди него, в небе, и он, встречаясь с ним, расставался для новых откровений. Антон вспомнил еще что-то важное из прошлого, которое оказалось будущим, но сейчас некогда было думать — простор завороживал.

Вся эта необъятность и ширь словно куда-то подалась от него на расстояние неожиданного признания и заняла место целой вселенной. Потянуло дымком отгоревшего костра, запахом листьев, обретших бумажное бессмертие, низкий туман напознал на луга и узкую ленточку реки. Стало прохладно; он передернул плечами, подтягивая молнию на своей легкой куртке, захваченной на всякий случай, до подбородка, и поймал главное: прозрачный воздух, настроенный на таких тонких и чувствительных струнах, что самый дальний звук был слышен как будто рядом.

Все менялось, запутывалось и становилось ясным с такой космической беспредельностью, что в лунном небе серебряной нитью отражалась река. Всеохватной безмятежности луны глухим и случайным лаем, не переходящим в перебрых, отвечали собаки и редкие мерцающие огоньки на склоне, и только в таком виде к картине мира добавлялась нотка покоя и непонятого счастья, раздвигающего пространство и поднимающего ввысь небосвод.

Это было так здорово, что закрывало все невзгоды и утраты, говоря сразу о вечном, о том, что все вокруг, на самом деле, правильно и ладно устроено. А все твои скрипы зубами и шальной бег мыслей, растрavляющий рану, всего лишь пустое недоразумение.

Ну, конечно, — продолжало передавать в нем с помехами, на неустойчивой волне «Радио Обида», — пусть меня поищут. Она еще побегаёт — не за грибами, и поаукает. Даже если не заплачет, глаза все равно увлажнятся. Забеспокойтесь и погорюет. Потом сама себе из рюмки в лицо плеснет, а уже поздно будет. Пусть даже меня не станет, зато вот это все вокруг пребудет вечно, и это здорово, в любом случае, лучше и совершеннее меня.

Антон нашел себе оправдание в небе. Теперь он был уверен: что бы он ни сделал, все будет правильно, потому что иначе и быть не может. Неправильно будет, если ничего не делать. И если бы не случилось сцены за столом, то он бы ничего этого не узнал. Ему не было нужды делиться своим открытием с кем-то еще. Он хотел стать частью увиденной им картины: рассеяться, исчезнуть.

С таким настроением можно было идти куда угодно. Антон Лепетов в последний раз взглянул на эту неожиданную лунную долину, вылечившую его от несчастья, и зашагал прочь. Под ногами — проселочная дорога с уснувшей пылью, над головой — звезды в россыпь ему ценным подарком. Он был один — и стало легко. Даже как-то слишком — предвзято, отчаянно, с возможностью какого-нибудь нелепого случая в отместку. Это радио все же никак нельзя было в нем заглушить. Ага, побегают в растерянности, поищут, до реки доберутся, а вдруг утонул? И нет никаких следов, все чисто — где теперь искать?

У него голова чуть не закружилась от упоения, он даже сжал кулаки. Потом взглянул на часы: уже миновал час ночи, близилось к двум. Чтобы обратным путем добраться до шоссе, надо было идти вдоль длинной вереницы деревьев, выстроившихся в линию. По правую руку тянулось широкое поле, в сумерках показавшееся брошенным в неприглядную и бескрайнюю пустоту. Антон держался середины дороги, облюбованной луной, — сохраняя душевное равновесие и сторонясь темных закраин. Вдруг в поле, за сухой невысокой травой, что-то зашуршало и прошелестело призраком активной ночной жизни, чтобы мелко перебежать впереди через дорогу и уже почти бесшумно схорониться в посадках среди деревьев. Антон от неожиданности приостановился, пропуская неведомое существо, ставшее знакомым уже через какую-то секунду. Ну, конечно, ежик. Еще и фыркнул ему на прощание: нечего, мол, шататься тут по ночам. А мне в город, подумал Антон, куда же еще?

Чернота асфальта начинала блестеть еще издалека — глазастым проектором выхватывали свет фары редкого в этот час автомобиля. Антон не собирался голосовать, ему это даже в голову не приходило. Он шел наудачу, по обочине. Машина пролетела дальше, не сбавляя скорости. Задумывались ли те, кто сидели внутри, что он делает тут, вдали от города, в одиночестве? Как вообще здесь оказался? Он сам об этом не думал. Да и как такому типу останавливать ночью по собственной воле? Черт знает, что у него на уме, какие там тараканы ползают. Нормальный человек в подобной ситуации не окажется, это точно. Он дома будет находиться, — тогда о чем разговор? Ну и правильно, я бы тоже дома сидел, да уже и спал, конечно же, если бы не обстоятельства. Да бог с ними...

На открытой дороге стало еще светлее. Теперь ему уже холодом веяло с полей, и он пытался согреться быстрой ходьбой. Сколько километров до города? Кто знает. Как раз это ему и неинтересно. Никаких знаков пока что не попадалось, или он просто не обращал на них внимания. Придорожные столбики служили ориентиром — они отражали проносщий-

ся свет. Этот случайный марафон для чего-то ему был нужен. Наверное, он хотел что-то доказать — и в первую очередь самому себе.

Еще одна пронеслась мимо, натужно подвывая. Дернулась и увеличила скорость, как только поравнялась с ним. И правильно: мало ли что? И снова темень, хоть глаза выколи. Однако, что же дальше? Вот так идти и идти до победного конца? Победного ли? Насколько еще его хватит? Вот дура так дура, еще какая дура, таких дур-то поискать. Ну и ладно... Антон вздохнул: н-ничего, все об-ойдется.

А это встречная — хищный, ошалевший свет заранее ослепляет и, прижимаясь к асфальту, уносится в непроглядную темноту.

Ежик прямо умилил меня. Силен бродяга. Нагулялся по полю, теперь спит, наверное, в своем закутке. А вот я еще не нагулялся. Такое никому ежику не приснится. У него ножки маленькие, он просеменил ими скоренько — и все дела. А мне-то каково? Когда же я доберусь до своего лежбища? Интересно, здесь водятся волки?

Тишина поднималась кверху и увеличивалась в размерах — даже как-то жутковато становилось. За городом ее было с избытком — слишком много на одного человека. Она была холодной и бесприютной. Сзади тронулся свет — прежде звука, первым неуверенным отблеском движения. Звук мотора объявился значительно позже; его нарастающая и избыточная уверенность не принудили Антона обернуться. Он по обыкновению поглядел вслед обогнавшей его машине, и тут что-то случилось. Внезапно автомобиль резко затормозил и сдал назад. «Я попутчиков не беру», — уже было приготовился сказать Антон, но ему не пришлось этого сделать.

— Епс тудей, да вот же он! Я же вам говорила, что он!

Из поравнявшегося с ним внедорожника высунулась голова Галки Обойдиной; ее лицо было испуганным и восторженным одновременно. Открылась и хлопнула дверца. Обойдя капот, перед Антоном показался Паша Приставкин.

— Ну ты и герой! Сколько отмахал... Может, хватит? Садись в машину.

Сейчас он выглядел вменяемым, немного уставшим, но добродушным пузырьком, по тревоге поднявшимся в погоню. Антон же, наверное, был похож на затравленного волка, принесшего людям много неприятностей и волнений. Его, однако, всего лишь пожурили: подурачились и хватит. В освещенном салоне машины Антон увидел лицо Веры — бледное, со следами слез; как он и хотел. Долго уговаривать его не пришлось. Поддерживая свое уязвленное достоинство, он нахмурился и сел сзади, рядом с подвинувшейся Галкой Обойдиной.

— Ты нас всех взбаламутил, — сказал Паша, продолжив движение в сторону города. — Галке спасибо скажи, она тебя заметила.

— А ему ведь за руль в таком состоянии нельзя, — обернувшись к Антону с переднего сиденья, с округлившимися глазами добавила Ира Приставкина. — Мы ведь ночевать у Аркадия собирались.

— Да ладно, ерунда, уже все выветрилось, — покривился Паша. — А мы тебе звонили-звонили, а ты недоступен и недоступен.

— Я телефон отключил, — глухо ответил Антон и пусто уставился в окно.

Ему сейчас не очень-то хотелось разговаривать. Он зевнул; возбуждение прошло, хотелось спать. Вера сидела с другой стороны и тоже смотрела в окно, хотя там вряд ли можно было увидеть что-то интересное. Они не проронили ни слова друг с другом. Разделявшая их Галка Обойдина не могла удержаться от хаотичного изложения подробностей:

— Можешь себе представить, мы даже к реке ходили искать — так все переволновались. Аркадий с фонарем весь луг обыскал, на тот берег хотел перебраться... Как только Вера нам рассказала, что произошло, так мы и взялись... Оля чуть в воду не рухнула, ее Максим успел подхватить. Там такое было...

Отвлекло ее радио, которое включила Вера.

— Ой! — воскликнула Галка. — Это же моя любимая песня. Как здорово! Сделай, пожалуйста, погромче.

И она принялась мечтательно напевать.

Глава седьмая

ПРИЯТНОГО МАЛО

Сон был, несомненно, дурным — с какой стороны ни пытайся его понять, но еще больше в нем было дури с опозданием, с предсказанием не по адресу, в сторону съехавшего жильца. Пустые кресла в театре, ощущение провала в зале; кажется, всего-то один зритель, и тот неслучайный... Неужели режиссер? Запомнились спинки кресел, их вид наводил тоску. Никто не пришел на этот спектакль. Спасти положение было никак невозможно.

Антон просыпался и спрашивал себя: ну а мне-то какое дело до всего этого? Он морщился, протирал щелочки глаз, выбираясь к понятному свету, и словно отмахивался от наваждения. И только потом всплывало главное, то, что пряталось за дымовой завесой сна, — размякшая фигура постановщика свежей пьесы Зулусова, впавшая в состояние оскорбительной подозрительности Алла, негодующее лицо Веры, ее движение рукой, схватившей рюмку водки, и все остальное. Так начинался первый день новой жизни, в которой совсем не было места для слов.

Молчание загоняло болезнь внутрь: наспех обработанные раны грозили вспучиться нарывом, и тогда недалеко было до взрыва.

Антон молчал с сознанием своей правоты, Вера — с обнаженной обидой. Находясь в одной квартире, они никак не могли встретиться, — все пути сообщения были заминированы. Им словно надо было померяться своим молчанием — чье тяжелее? Для Антона ответ на этот вопрос был ясен: женское молчание всегда тяжелее, оно весомее по всем признакам, а мужское — ущербное, легковесное, готовое в любую минуту сдаться.

Побеждает упорство, побеждает упрямство. У Антона не было столько сил, чтобы одержать верх. Он теперь думал про «все остальное», и это ослабляло его и без того невыгодные позиции. Знает ли она, что там было потом? Он уже и сам не знал, не верил — было ли там, правда, что-нибудь? Что-то на него нашло. Света представлялась зыбкой тенью какой-то обиды, мстительного желанья, сумасбродства. Ну, а откуда она могла про нее узнать? Каким образом? Только танцы. Никто же не видел. Что могло меня выдать? Неужели Света ляпнула? Дура она совсем, что ли? Это просто невероятно, этого быть не может! Зачем ей это? Что там произошло, когда я ушел? Она искала меня вместе со всеми? Голова ни черта не соображает... Может быть, Вера молчит именно потому, что все знает? А как мне это узнать?

Покуда у Лепетовых безнадежно играли в молчанку, у Зулусова приходили в себя после бурной ночи. Первым к общему столу, как месту сбора выползавших из темных пещер неких существ, отягощенных похме-

льем, выбирали фанатевший в ночи от телевизионного футбола Максим Друганов. Его по-прежнему непробиваемое лицо в сопровствлении неблагоприятным обстоятельствам зримо потяжелело, а беспорядочные, непричесанные вихры лучше всего сообщали о конечном проигрыше в матче; да от него даже пахло проигрышем — кисло так и безутешно. Весь его вид был наглядной картинкой к выражению «попусту», если бы вдруг кому-то пришло в голову его изобразить. Понятное дело, что он ничего не знал о произошедших этой ночью событиях. Голова его гудела как футбольный мяч, отскочивший от перекладины ворот обратно в поле. Или звенела как мяч. Или как перекладина. В общем, он так и остался во вчерашнем дне. Вернее, застрял — на самом дне дня.

О том, какая «потеха» тут приключилась всего-то несколько часов назад (а теперь время шло к одиннадцати), ему поведал Зулусов, вышедший из-за декоративных решеток с вожделенной баночкой холодного темного. Он так и сказал «потеха», улыбкой завершив вздох и покачивание головой. Про обиду Зулусов упомянул вскользь, поскольку деталей не знал или просто неверно их понял. Подробности ограничились лугом и берегом Еманчи; ночная география поисков впечатляла.

Они находились в разных комнатах, чтобы не мешать друг другу насладиться своей непреклонностью. Такое обособленное положение предполагает победу... или все же поражение? У Антона уверенности не было ни на самую малость. Какая уж тут уверенность... Он прислушивался к любому звуку со стороны. Дверь в его комнату была открыта, в ее — закрыта. Понятно, его предложение мира отвергалось. Что она там делает? Лежит на кровати и смотрит в потолок... нет, глаза закрыты... или стоит у окна и ничего не видит — ничего хорошего, разумеется.

Он и сам подходил к окну, пытаясь опереться еще на что-то, кроме зыбкого внутреннего оправдания, и сразу упирался взглядом в неоднократно проверенного Николая Ивановича, проходившего мимо подъезда, начальника — домоуправлению, но не себе самому. Как некстати...

Антон отворачивался от окна и включал телевизор — пора было нарушить тишину. Экран подавал бойкий голос придуманной кем-то жизни, изображение дразнило и даже издевалось: главным действующим лицом был какой-то продвинутый в необозримые дали успеха модельер с ухоженным ирокезом на голове и в больших круглых очках черепахи Тортилы; по сути дела он рассказывал о том, как научился пользоваться женскими слабостями. Как это грустно...

Бездействие и неопределенность угнетают. Но что еще можно сделать? Какие движения предпринять? Да самое простое — сходить в магазин. Вот это верно; решение обыденных бытовых проблем, несомненно, отвлечет от душевных тягот. Антон уже в коридор вышел и ногу приподнял, чтобы надеть обувь (значит, молока и хлеба взять, это точно, а еще чего-нибудь вкусенького, ну, это понятно зачем), но вдруг остановился, смущенный опасением: сходить-то он сходит, а вот сможет ли войти обратно? У него опустились руки. Он вздохнул и покосился на дверь, за которой для него продолжала отсутствовать Вера. В таком состоянии даже нужные покупки становились ненужными.

«Потеха отменная», — еще раз подтвердил Зулусов; теперь, при дневном свете, находясь в благодушном настроении хозяина, ему хотелось дать снисходительную оценку слегка потревоженной ночи. В его изложении вчера им довелось стать свидетелями неожиданного взрыва страстей, исполнения на публике одной из глав вечной истории любви. «Как я им

завидую, — вздыхал он и, кажется, непритворно, — такие чувства... У них же любовь!»

Слово «любовь» тут вообще словно впервые в жизни прозвучало — как-то возвышенно и слишком обнаженно. Никто прежде в этих краях его не слышал. Это, несомненно, была Любовь с большой буквы — такая, что никому из присутствующих никогда не снилась и даже самому Зулусову была неведома. У него и на лице соответствующее безнадежное выражение высветилось — «да что вы понимаете в этом!» Вот Максим Друганов точно не понимал, вернее, недоумевал: как это он мог пропустить такие события!

В этот момент из дома вышла Кристина, следом показалась Света. Кристине тоже пришлось удивляться услышанному, но совершенно по другой причине, неизвестной для остальных, потому как она знала побольше. Или она все же спутала что-то? Это о ком говорится? У кого тут любовь? Уже все открылось? Ей могло показаться, что Аркадий просто издевается, однако это было не так, в этом случае ее осведомленность взялась сопротивляться заблуждению — на короткое, впрочем, время. Внешне ее могли бы выдать только поджатые губы, но кому бы надо было искать в ее лице какие-то знаки и приметы. А потом она обернулась и увидела Свету. Света слишком уж нарочито зевала и прятала глаза. Кристине почему-то стало неловко. А Максим испытал похмельное чувство вины: он заметил, что Света избегает его взгляда и расценил это как естественную женскую обиду, ведь он совсем забыл ее из-за чрезмерного увлечения футболом. «Жить вместе столько лет и сохранить такую свежесть чувств — этому можно только позавидовать», — заключил Зулусов и, наконец, повел всех к столу, за которым, как оказалось, уже восседал Игорь Истомина.

Они встретились на кухне. Разумеется, случайно. Он решил, что там никого нет, иначе бы остался на месте. Значит, пропустил ту минуту, когда она зашла на кухню. По ее спине он понял, что она никак не отнеслась к его появлению: для нее его по-прежнему не существовало. Однако и отступать ему теперь было нельзя — это уже было бы признанием его безоговорочной капитуляции. «Ну нет», — что-то в нем непоправимо щелкнуло; он разозлился на себя и с преувеличенным рвением полез за чашкой в шкаф над ее головой. Громко зазвенела чайная ложечка; он задел стакан, еще одну чашку; судорожная неловкость виноватого и расстроенного человека — вот до чего довел его «половой экстрим».

— Ты кофе будешь? — спросил Антон, не снижая темпа, голосом решительным и способным на встречные обвинения.

Молчание. Снова безжизненное молчание. И упрямая, таящая готовую взорваться опасность, спина. Как до нее достучаться? Сколько можно молчать? Она все знает? И теперь — все кончено? Это было похоже на панику. Он продолжал дальше заводиться, словно невидимая рука крепко держала его, накручивая пружину, и как только она взведет ее до упора и отпустит — он неизбежно сорвется.

— Ты что, не слышишь меня?

Да, вот именно так: он восседал, погруженной в себя окаменелостью с внушительным содержимым. Уже давно, раньше всех — и жмурился в утвержденной благодати от солнца, словно ни разу и не вставал с вечера из-за стола, а так и просидел, сложив руки на его поверхности. И, конечно же, не устал нисколько, ничего не потерял в себе за ночь, сохранив внешний вид в неприкосновенности, как будто единственно и готовился, чтобы только лишь природным образом пожмуриться.

Зулусов не удержался, спросил:

— А ты и спать не ложишься, все время тут?

Но Игорю Истомину отвечать не пришлось, если бы можно было предположить хоть какой-то от него ответ; за него высказался неутомимый диджей Егор Коновалов. Он высунулся из-за закопченного камина голым торсом, только джинсы на нем, наушники на шее, сигаретка зажата в пальцах, а на плечах и руках татуировки, как у вышедшей на пенсию от наркотиков рок-звезды с репутацией бузотера. Ну и сказал так сказал — под стать своей изумительной натальной живописи:

— Он, может, просто хочет воздухом подышать на свободе, как-никак целых три месяца в американской тюрьме провел.

Йо-хо-хо, разрази меня гром, попутного ветра, синяя птица, три тысячи чертей, пятнадцать человек на сундук мертвеца и бутылка рому! Зулусов опешил: однако не знал почему-то; и не только Зулусов, все пришли в удивление. Вот те раз... Какая уж тут «история любви» и чувства, раз такое дело! Тут же все меркнет! Что ж молчал-то до сих пор, не диджей этот, Коновалов, разумеется, а холодный как камень Истомин? Хотя вот он-то, Егор, весь в росписях, более подходил на роль заключенного, как уже получивший прописку, и каким же тогда боком тут Игорь выходит? Вот где пьеса готовая и драматургия неподдельная. Это вам не наша набившая оскомину блатота, вся эта «мурка» с «золотыми куполами», лагерная лирика да тюремная романтика. Кому такое интересно? Наелись досыта. Подразумевалось же кем-то, охочим до самой правдивой и некрасивой правды, что в наших тюрьмах половина населения сидела. А тут тюрьма — американская, и живой человек оттуда, очевидец. Самый настоящий человек-загадка. Так дай же ответ, человек, поведай нам свою историю не любви, а злоключений и испытаний. Говори сам, без посредников.

Но человек Истомин в это время с кем-то тихо говорил по мобильному телефону, отвечая на звонок. Могло показаться, что он вовсе не заметил оживления, вызванного его персоной.

Обошлось без шума. По крайней мере, он смог сказать то, что хотел. Его услышали. Они стали разговаривать...

— Не видишь, я занята.

Да что же он мог увидеть, если она стояла к нему спиной?

— Это хорошо, — сказал он чуть ли не нараспев. Хорошо, что она отозвалась. Значит, она ничего не знает. Стало быть, ничего и не было — так, случайная вспышка в ночи, не оставившая следа. Он приободрился.

— Женщина и должна быть всегда чем-то занята, иначе во что она превратится, если будет просто шататься без дела?

— Ты бы лучше на сцене там у себя раньше играл, а дома мне этого не надо, — сказала она, повернув к нему лицо, с чувством пока до конца неопознанным. Хотя нет, вот и отметка вдобавок к чужим глазам с неприступным выражением. — Здесь не театр. Мне не надо плохого актера. Надо просто быть человеком и уважать того, с кем живешь.

Она освободила руки и отошла от мойки. Кастрюля, разделочная доска, нож. Жизнь продолжается. Будет обед?

Антон проглотил «плохого актера» и решил пойти дальше; он осмелел — поверил в то, что мин больше нет.

— Ты даже к дождю меня ревнуешь, — нашел он себе свидетеля ее прежних сумасбродств; за окном как раз начинало накрапывать. — А потом помнишь, сама мне не раз о ком-то рассказывала: «Он на меня запал». Каково это? «Запал».

Он даже усмехнулся, но вышло не совсем удачно, а проще сказать, совсем не к месту.

— Не говори ерунды, — сказала Вера. — Может, ты меня с кем-то путаешь?

Он осекся; ну да, это называется «переусердствовал». А она продолжила:

— Ты вообще столько пустого говоришь. В твоих словах нет никакого смысла.

— А мы непременно хотим смысла, — подхватил он. — Да сколько кругом нелепых и ничего не значащих выражений: «сумасшедшая энергетика», «глобальные вызовы», «новые смыслы», «валютный коридор»... И все служит оправданием пошлости.

— Так ты сам не будь пошлым! — воскликнула Вера. — Будь самим собой, не играй! Ничего ведь не скроешь, все рано или поздно вылезет наружу.

К чему это она? Возник повод насторожиться. Где ее мягкость? Еще сутки назад вот здесь же, на кухне, все было по-другому. Ее голос был гладким, он почти пел вместе с воздухом, создавая атмосферу доброжелательности. Она слово «сыр» произносила, как «мама», «папа», «мир», «солнце». Чашка горячего чая на столе, хвостик от пакетика свисает с ее края надежным семейным якорем. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет сыр!

— Быть самим собой утомительно и невыгодно. Всегда рискуешь попасть впросак. Запросто можно оказаться идиотом. Хочется возложить эти функции на кого-то другого, а самому пользоваться уже готовым — смотреть, слушать, потреблять, — говорил он, понимая, что ничего хорошего уже не получится. — Пусть кто-то будет самим собой, да ради бога, но только не я. Я же буду играть во все существующие на свете игры, пока у меня будет возможность и пока мне это не надоест.

Нет-нет, ему не в чем признаваться, на этом он будет стоять...

Чтобы разговорить Игоря, надо было приложить некоторые усилия. Слова из него едва ли не щипцами приходилось вытягивать. Выяснить, однако, удалось вот что: его задержали при переходе мексиканской границы, — очень уж сомнительным он показался. Он хотел махнуть из Штатов в Мексику, а вместо этого очутился в тюрьме. Должно быть, еще и по причине природной молчаливости. Знание языка у него имелось, но нерасположенность к общению (вот хотя бы ответить на кое-какие вопросы) неожиданно взяла верх в самую неподходящую минуту. Подобная замкнутость давала простор для воображения тем, кто отвечал за безопасность страны. Агентов ФБР он очень заинтересовал. Присущая им подозрительность наводила на всякие профессиональные мысли. Тем более, что этот русский довольно странный. С какой целью он собрался в Мексику? Три месяца, проведенные им в тюрьме, так и не дали ответа на этот вопрос, а только еще больше заставили уверовать непонятливых американцев в известный тезис о загадочности русской души.

Вот, собственно, и все, что удалось по крохам наскрести собравшимся у стола. Складывалось впечатление, что Игорь Истомин словно чего-то не договаривал или просто не придавал значения каким-то важным деталям, которые для слушателей сразу же стали бы основой до конца понятной истории. Или они все тоже были не русскими и потому никак не могли разобраться в особенностях его характера. На деле же он, скорее всего, что-то пропустил в событийной цепочке, которая начиналась с его

прилепа в Нью-Йорк к другу, работавшему в компьютерной фирме. К тому же и про тюрьму так ничего и не рассказал, отделяясь лишь загадочными улыбками, хотя, конечно же, всем интересно было узнать, как там обстоят дела: так, как мы в американском кино видели, или иначе?

Как бы там ни было, а Зулусов провозгласил:

— Да ты почти герой! За это обязательно надо выпить. — Он поднял рюмку и вздохнул. — А мы тут прозябаем... впустую жизнь проводим.

Этот его вздох сразу сказал о многом: тебе повезло, не всякому выпадает такой шанс, такое раз в жизни бывает, а потому тебе можно только позавидовать. И вслед за этим неожиданным выяснилось, что праздновать-то больше нечего, и все как-то разом сникли, впадая в коллективное дневное оцепенение. Чтобы растормошить эту компанию, не хватало только Галки Обойдиной, заряженной на положительные эмоции, но Галки-то как назло и не было под рукой...

— Я не пойму, чего ты хочешь от меня?

Ему показалось, что выглядеть обиженным в данный момент будет самым лучшим решением. Настала его очередь. Пришла минута, когда нельзя больше просто выждать. Нельзя бездействовать. На него не нападают — значит, нет ему нужды обороняться. Это все недоразумение и недопонимание. Пора их забыть и двигаться дальше — жить дальше.

— Ах, ты не понимаешь? — спросила Вера; она повернула голову от окна, в ее взгляде читалась такой неожиданный вызов, что Антону представилось будто бы он ни с того ни с сего споткнулся на ровном месте. — Ты ни за что не привык отвечать. На тебя ни в чем нельзя положиться. Ты... ты просто враг мне.

— С чего это ты взяла? — спросил он, но уже не столь уверенно; его голос отступал — и если бы на заранее заготовленные позиции. У него ничего не имелось в запасе, чтобы достойно ответить.

И он еще раз обиделся, но уже второй волной, по-настоящему, испытывав внезапную усталость от невозможности найти выход из тупика. Конфликт был скрыт и тлел за повседневной толщей быта, воздух держался на напряженной ноте готовой лопнуть струны, и даже все предметы на кухне словно выступили против него: чайник, в котором нельзя было вскипятить воду; настороженно глядящая в потолок чашка с охраняемым объемом пустоты; крепостные двери шкафов над газовой плитой и мойкой, наглухо закрытые от неприятеля; холодильник, доверху забитый нетающим льдом.

Молчание обрастало враждебностью несокрушимого панциря. Пауза была нужна им обоим, чтобы собраться к решающему прыжку, — в этой потасовке побеждал тот, кто сильнее укусит. Первым к чтению своего манифеста приступил Антон...

— А вот и Алла! — с неожиданной живостью в голосе воскликнула Света, словно ей непременно надо было перевести стрелки с одной истории на другую — с поднадоевшей непонятной на свежую забавную.

— Ну, наконец-то, — сказал Зулусов, обводя всех игривым взглядом и остановившись на бывшем американском заключенном Истомине. — А мы-то уже решили, что она нас покинула.

— Ха-ха-ха, — с позабытой школьной непринужденностью, готовой во всем обнаружить юмор, рассмеялась Света. — Это в каком же смысле?

Зулусов, не выходя из своей роли приветливого и умиротворенного хозяина, замаялся:

— Ну, уехала ночью и все... А ты что подумала?

Из дома, в сопровождении Оли Бесединой, вышла Алла Альховская. Могло показаться, что Оля придерживает ее за локоть, чтобы та смогла сделать первые шаги нового дня, — так вот заботливо сопровождала. Вышла на крыльцо не на костылях, но на слабых еще ногах. С какими-то белесыми, невыспавшимися глазами, которые для окружающих словно просвечивались сквозь зыбкую и легучую кисею. С ней произошли серьезные перемены: она, в свою очередь, смотрела на мир через ту же кисею и видела его выцветшим и бледным. Это был подслеповатый взгляд девушки, внезапно оказавшейся в незнакомой компании; осознание этого медленно проступало на ее меланхоличном лице вместе с беспокойным румянцем стыда. У нее был такой вид, будто она прошедшей ночью совершила неожиданное кругосветное путешествие; перегрузки, вызванные совершенно безумными скоростями передвижения, естественным образом, сказались. А вот Оля Беседина выглядела иначе: ее темные волосы днем, на солнце, значительно посветлели и выглядели легким, почти воздушным упражнением на тему свежести и хорошего настроения. Возможно, Алле Альховской в эту минуту хотелось всех расстрелять, чтобы потом снова завалиться спать, но она отыскала измученным взглядом своего молчаливого спутника Игоря и хриплым голосом, едва не сорвавшимся на карканье, сказала:

— Поедем домой...

— И вот еще, — решил дополнить Антон, воодушевленный своими предыдущими словами. — У меня возникло твердое убеждение, что ты на самом деле являешься той, которую я себе однажды придумал. И больше ничего. Ты просто стала соответствовать моему представлению, поддалась ему. Без меня тебя словно бы и не было... Нет, конечно же, ты была, но... как бы это сказать... была не оформлена. Я придал тебе форму, в которой ты успокоилась. Тебе в ней было удобно жить. А какая ты настоящая, ты и сама не знаешь или уже не помнишь, вот и приходится тебе разыгрывать передо мной сцены ревности на пустом месте. В поисках себя ты зашла слишком далеко.

Он даже вспотел немного, пока говорил, — от естественного волнения, а еще от гордости, что смог все это высказать.

Вера сразу как-то вся вздернулась — слишком долго терпела, а теперь уже и нельзя стало больше терпеть. У нее задрожали губы, она готова была перейти на крик.

— Это какая-то фантастика! Ты себя слышишь? Ты сам-то слышишь, что говоришь? Какая наглость!

Антон, зажмурился правый глаз, сделал кислое лицо: не ожидал такого, не мог предположить, что его объяснения вызовут у нее приступ бешенства.

— Ты о чем это? С тобой все в порядке?

— Он еще издевается надо мной!

— Да нет же, послушай, я просто...

Она перебила его:

— Зачем ты мне это говоришь? Ты сам себе это скажи!

Степень ее раздраженности отразилась на лице: в глазах блеснули готовые слезы. Он просто хотел исправить положение. Что не так?

— Снова этот пустой разговор, — выдавил он из себя бесполезные слова; он вдруг разом устал, осознав бессмысленность происходящего. — Мы говорим с тобой на разных языках.

— Да, да, да... — заговорила она, как в лихорадке. — Ты же не слы-

пиши меня! Ты и не хочешь меня слышать! Тебе надо, чтобы я молчала всегда, вот в чем твое удобство!

«Да она и правда не в себе», — огорченно подумал Антон. Тоска навалилась на него многоэтажным домом.

— У тебя психоз. — Он старался быть спокойным и говорить размеренно. — Тебе надо успокоиться.

— Как же, как же! — Вера не отступалась от взятого тона. — Какой ты заботливый!

Они явно топтались на месте — два борца духовного сумо, изнемогающие от тщетных усилий одержать победу. Оба находились в замкнутом круге. Стены кухни стали такими узкими, что Антону нестерпимо захотелось заняться рукоприкладством. Эта истерика его доконала. Да в чем его обвиняют, в конце-то концов?

— Ты замолчишь или нет? — выкрикнул он и вскинул ладонь, растопырив пальцы, — предупреждающий жест мужчины, который раздрадован глупостью женщины. Ну и, конечно, сильный знак — ответ на ее выходку на дне рождения у Зулусова.

— Ну что, — засмеялась она с какой-то горечью, — потерял самообладание? А как держался все время — как на сцене роль исполнял... Актеришка ты никчемный. И во всем ты такой никчемный. И не нужный. Мне не нужный.

— Вера... — Он поморщился, как доктор, вступивший в слишком близкий контакт с тяжело больным пациентом. — Что ты несешь?

Делать нечего: занявшись утешением, ему придется снова повторить свою ошибку. Он попытался обнять ее, но она резко отстранилась — с глазами, полными отчаянного недоумения:

— Ты что, так ничего и не понял? Ведь я же все видела!

Она сумела вытолкнуть его из круга...

По лицу Оли Бесединой разлилась редкая безмятежность, точно она была очарована собой. Ее, кажется, ничего не волновало вокруг, ей всего хватало в жизни, по которой она решила пройти босиком. Возможно, что она пребывала в обидной для кого-то прострации. Во всяком случае, хлопот она никому не доставляла. По сути дела, она принадлежала к обновленному поколению «детей-цветов», выросшему на культурной грядке. Она мило улыбалась при любых обстоятельствах — и этого вполне всем хватало для того, чтобы не задавать ей вопросов. И она никогда ни к кому не приставала, а Алле Альховской только предложила не торопиться, посидеть еще за общим столом и выпить кофе.

Зулусов против такого времяпрепровождения не возражал.

— Как раз и «газель» подъедет... Кто еще будет кофе? А чай?

— Пиво там осталось? — пересохшими губами спросил Максим Друганов.

— На, держи, — откликнулся диджей Егор, бросая ему запотевшую банку.

— Можно не озвучивать? — вздохнула Алла и подняла руку ко лбу. — Минералка есть?

— Вот, возьми, — подхватила Света и попыталась переправить бутылку через стол. — Не дотянусь...

Встал Игорь, взял у Светы минералку и молча передал Алле. Она надела темные очки, отвинтила крышку и сделала несколько глотков.

— А скоро машина приедет?

— Через полчаса примерно, — ответил Зулусов.

— Разве не вечером? — решила уточнить Кристина.

— Нет, — покачал головой Зулусов. — Но если кто-то до вечера хочет задержаться, то, пожалуйста, я не против.

— Даже уезжать не хочется, — призналась Света, — так здесь все замечательно!

— А тебя никто не гонит, — заметил Зулусов. — Оставайтесь... Как, Максим?

— У меня дела, — зевнул Друганов.

Алла снова проявила беспокойство:

— Сигаретки нет? А то мои куда-то подевались...

Диджей Егор предложил ей пачку, Друганов снабдил зажигалкой.

Все теперь сидели за столом на манер пресыщенных отдыхом дачников, которые не знают, чем заняться дальше. Друганов потягивал свое пиво, Кристина склонилась к плечу Зулусова, диджей Егор укрылся от окружающего мира наушниками и подергивал в такт головой, Света пила кофе мелкими глотками, Игорь сосредоточенно рассматривал свои руки, лежащие на столе, Оля Беседина светло улыбалась солнечному осеннему дню и теребила разноцветные фенечки на запястье. Зулусов, загодя улыбаясь какому-то тайному предположению, обратился к Алле:

— Жаль, что ты вчера пропустила самое интересное. Тут такое было!..

И сразу посыпались голоса, перебивая друг друга:

— Никто не ожидал!

— Всю ночь искали.

— Вот потеха.

— Хорошо, Паша потом дал отбой по телефону.

— Какие страсти разыгрались!

Алла показала опухшие глаза над темными стеклами очков:

— Да я же все видела.

Света закашлялась, отставив чашку; диджей Егор, наглухо запечатанный в музыкальную историю профессиональной болезни, продолжил битву за ритм.

Глава восьмая

КОГДА ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ

Радости всегда такие мелкие, а несчастье — оно тако-о-о-е большое. Почему он раньше об этом не задумывался? Вдруг это стало очевидно. Он оступился, и его вытолкнули из круга. А что он мог сказать в свое оправдание? Ему просто нечем было крыть. Лопнуло сразу все — до самого основания, и ничего не осталось.

Антон судорожно собирался — с такой решимостью или отчаянием убеждают себя в том, что уходят навсегда. Его суетливость должна была закономерно дорасти до бегства с непременным хлопаньем дверью. Он ждал, что его остановят, иначе бы он выбрал другой момент — когда остался дома один. И не на следующий день. Вот-вот, стучало его сердце, она подойдет и скажет: «Я тебя прощаю». И высохнут слезы на ее лице, и он с виноватой мрачностью опустит глаза вниз: его умаление и оскорбление было чрезмерным. Да, теперь надо будет уговаривать его, ситуация придет в равновесие, все забудется и все будет продолжаться как ни в чем не бывало.

Но, как оказалось, ждал он напрасно. Похоже было на то, что Вера

вычеркнула его из своей жизни. Она его не замечала. Она ничего не знала о его борениях. Она занималась своими делами. Она даже разговаривала с кем-то по телефону и смеялась. Ну, это понятно, это нарочно, на него играла в безразличие. Он еще топтался в коридоре, примериваясь к решающему прыжку в никуда, кашлянул, как бы давая сигнал к прощанию, и услышал из-за двери ее комнаты оживленный голос: «Алло! Это Лида? Лидочка, дорогая, привет! Сколько лет, сколько зим!» Это звучало так трогательно, что впору было тронуться.

Он тихо вышел из квартиры и осторожно закрыл дверь, словно боялся потревожить ее совесть. И только на улице сообразил, что как ни собирался, а так ничего с собой больше не взял, кроме ноутбука. Антон нес его, как седло для коня, который ждал его за углом, чтобы унести прочь — к началу новой и неизвестной жизни.

Двор осваивался в проступивших красках осени. Сентябрь — месяц еще надежный по всем показателям: дожди скорее случайны, чем постоянны, и служат бережным напоминанием о расставании с летом; прохладный и заметно посвежевший воздух понижает градус бесшабашности и справедливым образом позволяет совершить переход от расслабленности к собранности. Закончилась вольная пора, сезон отпусков и каникул, у кого они были; пора окунуться в рабочую повседневность. А вот Антон Сергеевич Лепетов окунулся в другое и расстался с привычным не плавно, по иным же причинам. Его глаза теперь опознавали мир в обновленных координатах.

У подъезда на непросохшем после дождя асфальте прыгала девочка в смешном красном плащике. Рядом еще две, примостившись на корточках, цветными мелками рисовали собаку и светофор. Из-за кирпичной стены, прятавшей отходы мусоропровода, выдвигалась крепкая женщина с постным лицом, в оранжевой спецовке и в высоком черном, похожем на дамский, картузе. «Ну что мне Николай Иванович, — жаловалась она кому-то за спиной, — говорили же, что выносить нельзя, потому что это невыносимо». За собой она тянула на веревке покосившуюся картонную коробку, доверху набитую мусором, бурлаком ее вытягивала через бордюр в направлении помойки.

Когда-то она авторитетом возвышалась перед пенсионерками на лавочке (те съезжились как больные голуби), чуть ли не лекцию им читала о чистоте: «Пока я двор держу», намекая на свои заслуги, на особую роль в деле борьбы с мусором и на то, что если ее не будет, то все сразу рухнет. Но «пока я двор держу». Антон с Верой тогда же в шутку присвоили ей титул, каких еще не было в истории, — «Держатель двора». Да, забавно было, а теперь... Пока мне рот не забили глиной. Нет, Вера не права, нельзя же так... Пожелтевший лист тополя, кружась в воздухе, приземлился Антону под ноги. Картонная коробка, слепленная из тары под эквадорские бананы и телевизор Sony Trinitron, преодолела все неровности земли и асфальта, оставляя за собой грязновато-скользящий след, какой могло бы оставить мертвое тело фантастически большого жука, перевернутого на спину.

Антон вдруг вспомнил шарманщика, которого видел весной, в центре, на углу Кольцовской и Плехановской. В темных круглых очках и широкополой черной шляпе, в длинном пальто, он был похож то ли на брата Карабаса Барабаса, то ли на дядю Кота Базилио. А теперь ему самому пора крутить ручку шарманки. Еще там были обрезанные деревья, за перекрестком, деревья-инвалиды; колчENOгие и безрукие, они расто-

пырились своими культами в беззвучном крике. Это осень имела много общего с той весной, а та весна обернулась осенью. Осень теперь у него внутри. И всегда потери. Как это грустно; действительно — невыносимо, непоправимо.

За углом дома, у распивочной, носившей гордое название «Вина Фанагории», Антон чуть не выронил свое седло — тпру, ноутбук, — столкнувшись с Геннадием Семеновичем. Тот был немного навеселе, лицо неожиданное — какое-то подвижно-продажное, с нездешним умыслом. Однако метаморфозы: опрятен, чистый серый костюм, белая рубашка, уверенная до едкой глупости улыбка. Прежде затрапезным был товарищем, а стал вдруг небрежным господином.

— Привет, сосед! Ты куда?

— Я... — замялся Антон и подумал: «А действительно, куда это я собрался? Да еще так ретиво — вот куда?»

— А я первый день в отпуске! — не дожидаясь его ответа, сообщил Геннадий Семенович. — Зайдем? — Он простецки кивнул в сторону забегаловки.

«Вот до чего дошло, — пронеслось в голове у Антона. — Я так выгляжу, что мне можно это предложить? Он думает, что от него счастьем разит, а сам весь как эта дверь цветом». Антон, конечно же, преувеличивал, дверь в заведение была темно-красной, а лицо у Геннадия Семеновича застряло на полпути к недостижимому идеалу. «А, черт с тобой!»

— Давай, — вяло согласился Антон; ему вдруг стало все равно.

Они шагнули со ступенек вниз и оказались в небольшом помещении, не располагающим к долгому присутствию. По ту сторону низкого, темного прилавка, служившего подобием стойки и заставленного картонными коробками с вином, стояла женщина обыденной торговой внешности в синем фартуке. Опытным взглядом она выхватила в Антоне новичка и обратилась именно к нему, а не к Геннадию Семеновичу, бывшему, очевидно, в этом месте примелькавшимся завсегдатаем:

— Здравствуйте.

Она уже и выдвинулась готовой под заказ, приподняв плечи. Антон неопределенно кивнул, озираясь по сторонам и привыкая к обстановке. Справа от него сверкающими краниками, в два ряда, выглядывали как бы вмурованные в стену круглые емкости, стилизованные под бочки. Надписи на бочках да и на коробках выглядели волнительно, звучали почти музыкой из какого-то средневекового замка: «Коварство и любовь», «Белая магия», «Приглашение на бал», «Поцелуй незнакомки»... Антон почувствовал себя словно на экскурсии в погребе, где еще хранились некие тайны, связанные со словом «кардинал». Эта тема была представлена здесь особенно широко. За право привлечь внимание клиента боролись между собой «Белый кардинал», «Черный кардинал», «Кардинальская мантия», «Слово кардинала», «Награда кардинала» и прочие религиозные знаки отличия и аксессуары. Все указывало на возможное приключение, и надо было только сообразить, в какой момент оно случится: то ли сразу после принятия этих кардинальских даров внутрь, то ли с появлением из-за двери подсобки самого кардинала в пурпурной мантии. Геннадий Семенович на этот счет гадать не стал, а высказался прямо, уверенно растопырив пальцы знаком победы над сомнениями:

— Наташа, нам два «очарования».

Очевидно, это был своеобразный «золотой стандарт» для подобного заведения, который употреблялся чаще всего. Убедившись в том, что ис-

ключения ждаты не стоит, Наташа вышла в подсобку, а вернулась из-за двери уже с двумя стаканчиками красного, чем немало удивила Антона, ожидавшего, что им прямо у него на глазах нальют из этих бутлафорских краников. Теперь надо было куда-то приткнуться, чтобы выпить, — столы тут отсутствовали, а использовать прилавок с Наташей в качестве барной стойки не вышло бы ни в каком случае. Словом, устроено все было так, чтобы особо не задерживаться — махнуть стаканчик и без церемоний, сразу на выход.

В итоге остановились у стены, в которой подразумевалось окно, а вместо него нависала глухая панель. Краники на бочках серебристо блестя от улыбок: наверное, им забавно было наблюдать за тем, как Антон Сергеевич Лепетов пытается проникнуться очарованием этого бункера. Геннадий Семенович держался намного увереннее; казалось, его вообще ничем нельзя смутить. Чтобы очароваться дальше, а не разочароваться, пришлось повторить. И дело неожиданно пошло. Стало удобно слушать чушь, которую нес Геннадий Семенович, а в том, что это чушь, Антон несколько не сомневался, но теперь она стала какой-то понятной, своей, что ли, к ней можно было отнестись снисходительно и даже в чем-то, по приятной слабости, поддержать — кивнуть, хмыкнуть, усмехнуться или издать неопределенное и спасительное междометие.

Сколько это продолжалось, Антон не заметил, для него время просто перестало существовать; зачем оно теперь ему было нужно, если он оказался один, если отменилось все, что было прежде, в чем он жил? Наступала новая жизнь, он это чувствовал неотвратимо, его даже какое-то воодушевление распирало, когда он поддакивал Геннадию Семеновичу, озабоченному тем, как до неузнаваемости изменилась в телевизоре Европа по сравнению с теми французскими или итальянскими фильмами, какие он смотрел в кинотеатре в советское время. Новая жизнь представлялась Антону событием с большой буквы, вдохновляющим строительством с нуля, когда старая кожа полностью отмирает, и ты оставляешь ее позади как сухую и бесполезную оболочку. И тут надо набраться смелости, чтобы сказать себе: «без сожаления». Он настолько увлекся этой будущей мыслью, час которой уже наступил, что едва не упустил себя настоящего, еще не обращенного полностью в новое состояние. Они собирались уходить; Антон говорил Геннадию Семеновичу в продолжение: «Да, конечно, видел я этот фильм... Кто же его не видел? Все тогда видели. Там этот еще играл — как его...» и неожиданно нетвердой походкой прокладывая себе путь (всего-то два-три шага) — нет, не к новой жизни, а всего лишь к двери, чтобы быть остановленным вполне трезвым и дельным вопросом: «Ты ничего не забыл?» Он недоуменно оборачивался и узнавал в руках Геннадия Семеновича свой ноутбук.

На улице уже потемнело, и стало вдруг заметно, как неожиданно укоротился день. Небо очистилось от косматых, рваных облаков и поднялось вверх. Подступившая ночь заблистала такими звездами, каких здесь никогда не случалось. Все выглядело продолжением прощания с отжившими химерами и приобщением к свежим идеям, если не выставочной декорацией в качестве подарка, стимулирующей позитивное мышление.

— Ну, ты куда теперь? — наудачу спросил Геннадий Семенович, ориентируясь не по звездам, а скорее по внутренней необходимости свободы, засевшей в нем настолько глубоко, что выковырнуть ее из него возможно было разве что спецсредствами.

— Я... — снова промямлил Антон, как будто местоимение было ему

чужим, словно он уже отказывался от него, как от отнятой собственности, и теперь пробовал на слух, чтобы окончательно удостовериться в поражении. — Я...

— А я на дачу сейчас махну, на Ближние сады, — довольно сообщил Геннадий Семенович; он был настолько уверен в себе, что не нуждался в чьих-либо ответах.

У Антона все чувства подступили к горлу — захотелось совершить признание, чтобы стать легким для жизни и человеческих отношений.

— Да куда мне идти.

— Вот как, — усмехнулся в поддержку своему хорошему настроению Геннадий Семенович. — А что такое?

— Ушел я, все... — принялся сбивчиво объяснять Антон скорее себе, чем Геннадию Семеновичу. — Все теперь, насовсем.

— Не понял.

— А что тут понимать? Все закончилось. Вся моя прежняя жизнь закончилась, как будто ее и не было. Смыли в унитаз. Просто дернули за веревку, нажали на кнопку — и все, ничего нет.

— Да погоди ты, — поморщился Геннадий Семенович. — Про дело скажи, без эмоций.

У Антона вдруг слезы на глаза навернулись — так вдруг стало хорошо.

— Ушел я от Веры, понимаешь? Это точно уже, назад вернуться не получится.

— Вот еще... — протянул Геннадий Семенович и, словно ввязываясь в предложенную ему борьбу, приобнял Антона. — А что случилось-то?

— Нет смысла рассказывать. Случилось так случилось, назад не отыграешь.

— Ну ты даешь, сосед. У вас же с Верой вроде бы все нормально было, не то что у меня...

— У нас, у тебя... — вздохнул Антон.

— Да погоди ты... И куда теперь надумал?

— Даже не представляю. Открыт каждому взгляду и слову, совершенно пуст.

— А давай тогда ко мне на дачу, ты как? — предложил Геннадий Семенович, вцепившись в плечи Антону.

— А твоя...

— Да что — моя... Моя дома, а я на даче. Тут ехать-то всего ничего. Посмотришь, как я живу. А там и решишь, как быть дальше. Ну, идет? Да что я тебя уговариваю, в самом деле... Сам смотри...

Антон сидел в автобусе у окна, смотрел на двигавшуюся вместе с ним улицу и ничего не видел. Он словно весь состоял из ваты, был невесом до опустошения. Да, согласился он про себя, в таком состоянии ему непременно надо было куда-то уехать, и как можно дальше, конечно, чтобы без остатка растворить весь накопившийся в нем осадок и избавиться от мелкого сиротского дождика мыслей в голове. Геннадий Семенович сидел рядом и что-то бубнил про отдых за городом, про то, как раньше ходили трамваи, и он спокойно доезжал до Острогжской, а там иной раз полем добирался до дачи, идти-то всего ничего, если напрямую, по свежему воздуху, на солнышке, теперь же приходится делать пересадку на Краснознаменной, но это все мелочи, которые даже к досадным не отнесешь, главное, ты увидишь, какую я усадьбу себе отгрохал, там у меня все есть, что для жизни нужно, и зимой даже жить можно, ну уж Новый год я точ-

но только там встречаю, с настоящей заснеженной елкой, а клубника у меня какая, а смородина, а сливы — да что ты!

Прежде чем отправиться в путь, они зашли в магазин на остановке. Геннадий Семенович знал, какие недостающие продукты ему надо прикупить, Антон же просто плелся за ним с корзинкой, согласный на любое развитие событий. В итоге он даже не знал, пакет с чем теперь придерживает между ногами. Движение по тряским, плохо освещенным улицам, которых он совсем не узнавал, успокоило его до спасительного равнодушия. Он охотно прямо в автобусе еще бы выпил, чтобы окончательно отменить чувствительность человеческой природы. И как-то так, то есть совершенно непонятно как, без осознанного взгляда и ясной памяти, добрались, наконец, до места. Просто уже некуда было двигаться дальше — высоко сзади, среди остатков луж, горел фонарь, немой убийца мошек, едкий для глаз, и освещал грохнувшие металлические ворота, в калитку которых Антон уперся лбом.

— Погоди-ка, — сказал Геннадий Семенович и бережно отодвинул его в сторону.

Калитка с веским, почти тюремным звуком, знакомым Антону по фильмам, отворилась, и можно было войти внутрь. Антон сделал это на ощупь — еще не привык к темноте. Геннадий Семенович, шедший впереди, подбадривал его: «Смелее! Ничего страшного тут нет». И правда, уже можно было что-то различить — какие-то сооружения или ряды справа и слева, вдоль узенькой тропки, там вспугнутые порохи и даже неожиданные прыжки, так что Антон инстинктивно наклонил голову, опасаясь удара. Но главное состояло в другом: вечерняя свежесть, щедро запрошенная осенью, свободным крылом принесла запах чьей-то отчаянной жизнедеятельности — как будто кто-то хорошо сходил в углу и не вздумал уходить. Такой вот «осенний подарок фей», некстати подумал Антон. Он смущенно кашлянул, а Геннадий Семенович довольно пояснил:

— Это у меня кролики.

И щелкнул выключателем, осветив Антону, громоздящиеся друг на друге, многочисленные клетки. Серые, белые и даже черные особи были настолько ушасты, щекасты и упитанны, что выглядели мордатými зверями, способными разгрызть человека, как самую простую морковку. Однако они тяжело шархнулись от вспыхнувшего света и чужих взглядов, дрожа от потревоженного сна и избыточного пищеварения.

— Ты посмотри, какой красавец! — сказал Геннадий Семенович и, просунув руку сквозь прутья решетки, ухватил за уши уже такой непревзойденный по надутому размеру и тупоумной глазастости экземпляр, какой Антону представился непонятно как оказавшейся в заточении большой, из фильма ужасов, собакой радиоактивной породы.

Он так и сказал:

— Прямо собака Баскервилей какая-то...

— А то, — хмыкнул Геннадий Семенович, — тут у меня все такие — других не держим.

— Серьезная ферма, — заметил Антон, обреченно шмыгнув носом.

— Это еще не все, — многообещающе вздохнул Геннадий Семенович, выключил свет и через несколько шагов оказался в царстве гномов, лягушек и прочих игрушечных ночников, прятавшихся в траве и привыкших к работе в то время, когда вокруг все спит. Впереди проступили очертания плодовых деревьев, по краям, вдоль угадываемых стен, контуры

ягодных кустов, а за нависшими ветвями громоздким сундуком, пахнущим подточенными жуками деревом, вырос дом.

В неверном, обманчивом свете Антон увидел обыкновенный разошедшийся сарай с дачными возможностями бывшего советского времени, но потом, когда взошли на чистенькую веранду и сели на стулья перед столом, заправленном клетчатой клеенкой, усадьба оказалась хотя и старым, но все же добротным двухэтажным домом с кирпичным усилением, а также с фотографиями в рамках на стенах, сухим камышом в вазе на полу, луговыми цветами на подоконнике, засохшей бабочкой в углу окна, креслом-качалкой, накрытым пледом, и дальше — банькой и погребом.

— Здесь место и время для неспешных разговоров за чаем про жизнь и наши ошибки, а также про возможность их исправления, — возвестил Геннадий Семенович. — А под серьезную мужскую беседу можно чего и покрепче. У меня самогон есть отличный, родной — чисто слеза. Будешь? — И, заметив недоумение во взгляде Антона, открылся до конца: — Я ведь в магазине, если только муку, сахар там, соль или спички покупаю. У меня все свое. Мясо, пожалуйста, — это кролики. Овощи и фрукты — вот они, над головой и под ногами, только сорвать не ленись. Варенье, соленья разные... Я грибы, тут лес рядом, собираю. У меня даже хлеб свой — из хлебопечки, не покупной...

Строй жизни Геннадия Семеновича выглядел несомненной идиллией, а чтобы и гость по достоинству пропитался настроением природной безмятежности, он, без долгих уговоров, был усажен в кресло-качалку, где смог, наконец, без стеснения расслабиться и повиниться.

— Так и хочется себе по морде надавать.

— Да не казни ты себя. Со всяким может случиться.

— А с тобой?

— Ну, со мной чего только не происходило. Со мной другое произошло...

— Я знаю.

— Много ты знаешь, — возразил Геннадий Семенович. — Сливы будешь?

Они начали с чая с вишневым вареньем, продолжили самогоном. Обязательная крольчатина, огурцы, помидоры, томатный сок, картошка. Хозяин был радушен настолько, что едва не превратил своего жалкого собеседника, настроенного на какой-никакой диалог, в еще более жалкого слушателя — и только в слушателя. В какой-то момент Геннадий Семенович неоправданно оживился — глаза, подернутые стеклянным блеском, округлились, одна рука полезла в голову спутывать непослушные черные вихры, другая распахнулась на отлете волевой, убеждающей пятерней. Ему всегда было что сказать, только Антон об этом прежде ничего не знал. Геннадий Семенович заговорил обо всем сразу: и про снег, и про ветер, и звезд ночной полет, и моральный закон внутри нас, и редкий солнца луч, и ту женщину, которая поет, и про то, как оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли он...

— Удивительно, как женщинам нравится пошлость... Все эти словечки, которые произносишь с нужной интонацией. Как они сразу загораются, вспыхивают, начинают хихикать... Вот у нас мастер был — крупный такой, голомордый дядя, — жену он свою застучал с любовником, домой раньше вернулся, потому что руку поранил, чуть ее ему не оторвало у станка. И вот пришел он и такое видит — там прямо веселуха внаглую. А жена его вообще не замечает, у нее просто два бездонных океана глаз от счастья светятся... Ну и кинулся честь свою задетую защищать с

одной рукой, а ему любовник в обратку черепаху проломил — весь панцирь окорябал. Смеялись потом над ним, над его лысой головой. Вот какая бывает пошлая любовь. Мне такая даром не нужна. Мне вообще плевать, чем там моя занимается. Как будто я этого не знаю! У нее ведь главное в жизни — хорошо загореть за лето. Это у нее называется «быть порядочной женщиной». Бледная — уже не порядочная. Ходит теперь вся порядочная с ног до головы. Морда красная — вот и вся ее порядочность!.. Я, может, вообще отсюда уеду. В Москву. Мне сколько раз предлагали и сейчас зовут. А что? Ну, что здесь делать? У меня это запросто, никаких проблем. Мне работа всегда найдется... Эх, Москва златоглавая, город желтого дьявола!.. Вот возьму и уеду.

— Я бы тоже уехал, — робко вставил свое слово Антон. — Не обязательно в Москву. Лучше подальше. Еще в детстве, когда слышал паровозный гудок, всегда хотелось оказаться в поезде. Особенно, если ночью слышал. Вот спешит куда-то в темноте поезд — далеко-далеко, и там где-то обязательно лучше, чем здесь. По крайней мере, интереснее... Надо было уехать, а я остался. Вот опять, слышишь?

Антон поднял палец — как дежурный на железнодорожном переезде поднимает флажок; прохладная ночь с высыпавшими на небе звездами замерла в ожидании первого звука. Издалека сипло просигналил поезд и нарастающим шумом застучали вагоны. Снова куда-то проехала чужая жизнь, и вдогонку ей заволновался приподдавший сверчок.

— Сегодня тихо, — сказал Геннадий Семенович, — самолеты не летают.

— А слышно?

— Еще как. Военный аэродром-то рядом, им тренироваться надо. Как говорится, мы мирные люди, но наш бронепоезд...

А теперь музыка прилетела через дома; кто-то включил с надрывом: «Как упоительны в России вечера!» Под такую песню только и оставалось, что сразу же выпить.

Закусывая огурцом, Геннадий Семенович изрек:

— Интересно, что вечера в России не были бы так упоительны, если бы при этом не раздавался хруст французской булки.

Антону было приятно сидеть в кресле с пледом. Его покой крепко держал в себе чувство безысходности с пониманием всех начал, которые привели его к такому печальному состоянию. Ну да, он был согласен на поражение, и в это умиротворение краешком забытья пролезала дремота. И уже возникали какие-то беспорядочные слова в голове; они спорили между собой и стирали попеременно возникавшие образы, и странная фамилия Растаможин уверяла его в том, что они давно знакомы, а он все никак не мог в это поверить. Борьба на пограничной территории с неопознанным противником прекратилась. Сразу открылось вдруг самое главное, и он уже не мог отрицать этих сведений о себе. Оказалось, что он ничего не забыл. Антон очнулся и заговорил:

— Знаешь, я раньше марки почтовые собирал, когда в школе учился. В филателистических выставках участвовал. И вот однажды готовил экспозицию на космическую тему — решил, что сам справлюсь, без помощи отца, — а надо было на выставочные листы наклеить специальные такие кармашки для марок, чтобы их потом туда вставить, — клеммташи назывались. Так вот я сначала марки вставил, а потом их вместе с клеммташами на листы наклеил, не подумав. И разумеется, получилось, что марки вместе с этими клеммташами намертво к листам приклеились.

Когда я понял, что произошло, что чистые, негашенные марки навсегда утратили свой клеевой слой...

— Ну и черт с ними, — перебил его начинавший дремать Геннадий Семенович, — подумаешь, клея на какой-то там марке не осталось.

— Ты просто в этом не разбираешься.

— Я не разбираюсь, это точно, а вот у меня друг есть, самый настоящий пенсионер-индиго, редкий мужик, вот он разбирается, я тебя с ним обязательно познакомлю...

— Ладно, потом. Понимаешь, чистая марка — это не то, что гашеная, со штемпелем. Если на ней нет клея, то ценность ее падает. Это же теперь мне их паром или водой отмачивать, чтобы выволить из плена... Так вот была у меня любимая серия венгерских марок, посвященная полету «Союз-Аполлон». А я ее приклеил... Как сейчас помню надписи на каждой марке: Magyar posta — Венгерская почта. Мне больше всего было обидно, что именно они пострадали. Просто до настоящих слез обидно. Мне уже тогда лет пятнадцать-шестнадцать было, а я воспринял этот случай как невосполнимую потерю и невообразимую трагедию, словно ничего страшнее уже и быть не может. Словом, ка-тас-тро-фа. Вот до сих пор помню это чувство. Даже подумать тогда не мог, что в жизни случаются вещи намного серьезнее. И разве мог я тогда знать, что случится со мной теперь?

— А хочешь, морду тебе я набью? — неожиданно проговорил Геннадий Семенович. — Ты ведь сам хотел. У тебя же не получится, и неудобно, а я сумею.

— Спасибо, уже не надо.

Антон не воспринял всерьез его предложение, — пьяный человек хорохорится и только. Он понимал все свершившимся, как будто так заранее было predetermined, и он на самом деле уже тогда, с этими венгерскими марками, все знал, но только не видел. Или, вернее, видел, но не знал, как это называется. Не было у него тогда слов, а теперь они у него есть. Они пришли в эту минуту, совпали с ночными звуками и далекими и одинокими звездами. Антону совсем немного осталось для того, чтобы разобраться в себе, поставив жирную точку.

— У тебя тут хорошо — легко дышится и думается. Я вообще всегда любил ночь — эти тени от фонарных столбов на улицах, прибывающие дневную пыль к земле, полосы света, пробегающие по стенам и потолку комнаты от проехавшего за окном автомобиля, в которых, кажется, прячется какая-то неразгаданная тайна... Наверное, еще что-то оставалось от сказочных детских впечатлений. День — это суета, все на виду, а вот тут-то и начнется самое настоящее, скрытое от посторонних глаз... Но в какой-то момент, после детства, со мной стали происходить непонятные и даже пугающие вещи. Это перед самым сном случалось, когда я лежал на спине и разнообразные бессвязные мысли еще продолжали клубиться в голове. Там шли навязчивые и совершенно бессмысленные разговоры, от которых я желал освободиться. Я их прогонял, стараясь достигнуть такого состояния, когда ни одной мысли в голове не будет, и как только добирался до такой точки, так сразу же понимал — это и есть моя первая мысль о пустоте. Это пугало и открывало путь бесконечному валу слов. Меня в них уже не было совсем. Я словно слушал чужой шепот — какие-то люди угрожали друг другу, выступали с обвинительными речами, договаривались о поставках оружия, спорили из-за драгоценностей и клочка суши, покупали овощи на рынке,

на вокзале — билет на поезд, перевязывали раненых, добывали раненых...

И как с ума не сойти после такого? Самое страшное, что я все равно в этом участвую. Я понимаю, что это чушь, что это не про меня. Потом устаю от этого напора и своего напряжения, поддаюсь слабости — и все несется лавиной, уничтожая покой и порядок. Я подписываю мирные договоры и тут же вероломно их нарушаю. Наваливается усталость, она подталкивает смириться с очевидной путаницей, но мысли сердятся на мое соглашательство и начинают вертеться все быстрее и быстрее, словно подгоняя меня пинками. И вот я уже различаю — кто говорит и о чем. Поначалу слышно плохо, говорят быстро и невнятно, появляется попутный звук, усиливающий разговор. Разговор разгоняется, голоса резко набирают высоту — и вдруг нервно, в секунду, набегают шум, раздаются крики: «Ты что делаешь?», женский крик переходит в визг, с грохотом падает кастрюля с плиты на кухне, в соседней комнате кто-то вскочил и побежал, отец и мать сцепились голосами — это уже настоящий рев, лай, «ах ты, скотина!», дикая пронзительная злоба. Мне становится нестерпимо стыдно, и в страхе выскакивает мысль: «Да разве можно так кричать в три часа ночи?!» Выдерживать дальше становится невозможно — крика и звона в ушах, хлопанья дверей и щелчков выключателей у разбуженных и испуганных соседей, топот по всему дому, звук заработавшего со скрежетом лифта, уже и в дверь к нам звонят и стучат, и я тоже хочу отчаянно закричать, чтобы прекратить это невыносимое и жуткое безобразие, изо всех сил дрожа и напрягаясь лицом, пытаюсь вырваться из этого кошмара — и просыпаюсь с бешено колотящимся сердцем. Часто и тяжело дышу, голова приподнята над подушкой. Глаза упираются в беззвучную темноту потолка, потом в окна, стены, дверь... Ни малейшего шороха вокруг — все спят. Мне показалось!

Все случившееся напугало меня своей обостренной реальностью. Я переступил грань между сном и явью, даже постоял на ней, опасно покачиваясь на одной ножке, потом вернулся обратно. Но как я мог сообразить это сразу? Все заняло какие-то ничтожные мгновения, по ощущениям превратившиеся в минуты ужаса. Измучившись, я снова закрываю глаза и проваливаюсь в пустоту неопределенности. И вместе с этим приходит совсем уже странное — я цепенею и холодею на этом фоне с уже готовым убеждением: только я один в мире сейчас не сплю, меня пытаются загнать в темноту, но я сопротивляюсь, и все сосредоточено в моих руках, зависит только от моей воли, и если я не выдержу, то случится какая-то катастрофа, я должен удержать мир в равновесии. И вдруг мне все открылось — с закрытыми глазами я увидел пространство на сотни, нет, тысячи километров вокруг. Я слышал каждый звук на этих расстояниях разом — дыхание спящих в соседних домах, вот кто-то включил воду, закашлялся, а там, дальше, через двор прошла кошка. Все сущее, вся земля и небо оказались рядом, под рукой.

Желание обезопасить себя на всякий случай подсказывает мне сжать зубы — расслабленность непонятным образом не отменяет настороженности и строгой сосредоточенности. Просто я затаился. Голова — совершенно пустая, мозг чист и прозрачен, и кажется совершенно напрасным напряжение, затраченное на достижение такого простого состояния. Как будто отключилось все, и ничего не стало для действия — только наме-

ком одним понимаешь, что не можешь пошевелиться, а главное — осознаешь больше возможного в этой внезапной одновременности, когда слышишь весь город, сжатый в комок, слабые паровозные гудки за сотни километров, такой же гул самолета и то, как блестит под ним река, как открывается дверь в подъезд в доме, отстоящем на несколько остановок от подушки с моей беспокойной головой. В этом оцепенении остается только настоящее — нет больше ни прошлого, ни будущего. Опять же это всего лишь какой-то миг, а дальше закрадывается тревога, она приходит скрытой бедой, словно звуком напряжения в трансформаторной будке. Кто-то замкнул цепь ночи, напряжение охватывает все тело, сковывает губы и глаза, трясет голову — да, это я рвусь обратно к действительности, к жизни, рвусь из преддверия опасного сна, но никак не могу одолеть могущественного и невидимого противника, — кто-то натянул мне на глаза непроницаемую для света повязку, больно надавил коленом на грудь, так что мне тяжело дышать, — не дернешься, не вырвешься. Снова меня охватывает ужас, и я понимаю: мне не очнуться, не открыть глаз, и если я не пересилю, то пропаду, и не только я пропаду, весь мир исчезнет. Снова я задыхаюсь, колотится сердце — и все же выскакиваю из мрака, а потом, не сразу успокаиваясь, долго оглядываюсь кругом себя и угадываю в темноте предметы обстановки. Я победил? Не знаю. Несколько лет это продолжалось, не каждую, конечно, ночь, но все же. А потом что-то изменилось — вырос, женился, и с возрастом ушло...

— Э-э, да ты спишь? — спохватился вдруг Антон, заметив, что Геннадий Семенович положил голову на руки, нашедшие место для подушки на столе, и давно уже его не слушает. — А я тут делюсь с тобой самым сокровенным. Впустую, выходит?

Он встал и попытался его растормошить.

— Нашел, где спать. Где тут у тебя...

Геннадий Семенович тяжело заворочался и пробормотал, не открывая глаз:

— Эх, Растаможин ты мой, Растаможин, мать твою...

«Вот он что, — удивился Антон, — вот, значит, откуда он у меня взялся».

Он потянул Геннадия Семеновича на себя, и тот неожиданно легко поднялся, совсем некритично пошатываясь. Поддерживая за плечо и руку, Антон вывел его в некое подобие коридора, заменившее былые сени. Что делать дальше, Геннадий Семенович знал и без провожатых. Отстранив Антона, теряя равновесие, с короткого разбега неудачника-спортсмена, отлученного от официальных соревнований, он ввалился в соседнюю комнату и всем погруженным телом рухнул на диван. «Хорошо, что он ничего не слышал, что я рассказывал, — решил Антон, — а то каким бы я вышел дураком»...

Он проснулся в кресле-качалке, — птицы слишком шумно собирались на работу. Слегка озяб от утренней свежести. Поглядел на стол, заставленный пустыми тарелками и бутылками, вспомнил про Геннадия Семеновича и подумал: «Вот и пригодился».

От ночной сумятицы откровений в его голове осталась бытовая формула обязательных вещей, с которой он сбивчиво, с похмелья, продолжил разбираться, — допустим, дом он построил, дачи нет, но есть квартира, не его, правда, жены, но это же общее понятие в этом смысле, потом — дерево, ну да, посадил он однажды абрикос, а его, тоненький, только при-

нявшийся, кто-то срезал, остался сын, которого он вырастил, и это самое главное сейчас: что будет с Вадимом в данных обстоятельствах, как он отнесется к тому, что родители расстались?

— Опа! — В дверном проеме возник Геннадий Семенович — хмурый, с узенькими глазками, невыспавшийся, неприглядный. — А ты что тут делаешь, сосед?

Антон вздохнул, не веря в его беспамятство, и спросил:

— Кто такой Растаможин?

— Какой Растаможин?

— Когда я тебя спать укладывал, ты про какого-то Растаможина вспоминал...

— Первый раз слышу. Это фамилия такая? — Геннадий Семенович почесал свою всклокоченную голову, зевнул. — Сливы будешь?

Сливы вымотали Антону всю душу.

